



уральский

следопыт

№11 ** 1975



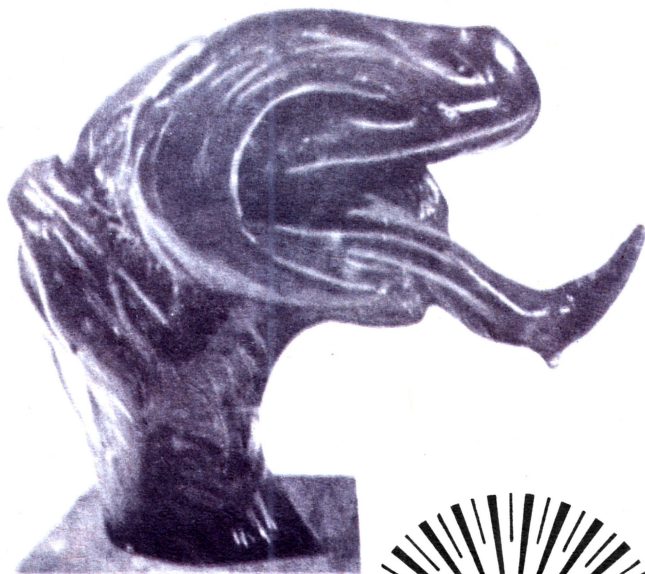
ХОТТАБЫЧ



БАЛЕТ «ШУРАЛЕ»



ТАНЦОВЩИЦА



КЛЕВЕТА



В СОАВТОРСТВЕ С ПРИРОДОЙ

Много тропинок в лесах Южного Урала проложил охотник за причудливыми корнями, ветвями, корягами юрюзанский слесарь А. М. Носов. В горных лесах можно найти, говорит он, «изумительные произведения природы».

Главное — заметить в бесформенном на первый взгляд корне сходство с каким-либо персонажем. Фантазия, умелые руки мастера — и коряга ожила, заговорила.

Одна из работ А. М. Носова так и называется — «Фантазия». А вот перед вами танцоры — балерина и танцевальный дуэт. Из замшелого кувшина появился старик Хоттабыч. Подняла отвратительную голову «Клевета» с длинным-предлинным языком.

Лучшими произведениями А. М. Носов считает те, где вмешательство человеческих рук было наименьшим. А для этого надо долго искать, что создано вчерне самой природой.

Виктор КОЛЧИН

в номере:

Б. Крупаткин ПЕСНЬ О КРЕЙСЕРЕ	2
Е. Алексеев ОТКРОЕШЬ ЧУДО	17
В. Тхоржевский КОЛИЧЕСТВО КАЧЕСТВА	18
НТ-75	21
Ю. Дунаев КАМЕНКА	23
А. Иванченко ХИЖИНЫ МАКЛАЯ	24
Э. Бояршинова А ЧТО ЗА ЭТОЙ РОЩЕЙ!	36
Л. Кузьмин ЧИСТЫЙ СЛЕД ГОРНОСТАЯ. Окончание	38
ЧИТАТЕЛЬ — РЕДАКЦИИ, РЕДАКЦИЯ — ЧИТАТЕЛЮ	58
А. Бусыгин ВОЕНКОМ АЛЕКСАНДР ВЕЙС	60
А. Попова ЛЫЖНЯ ВОЙНЫ	63
В. Пундани, Ю. Осипов НЕПОКОРНЫЕ ЧЕЛОБИТЧИКИ	64
А. Щербаков ЗАМЕТКИ РЫБЬЕГО ХВОСТА	66
СЛЕДОПЫТСКАЯ ХРОНИКА	71
ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА	72
МИР НА ЛАДОНИ	74
Н. Андреева ВМЕСТО КИСТИ — НОЖНИЦЫ	78
И. Тарабукин КАК ДВАЖДЫ ДВА. Эпиграммы	79

Редакционная коллегия: Станислав МЕШАВКИН (главный редактор), Муса ГАЛИ, Алексей ДОМНИН, Спартак КИПРИН, Борис КОЛЕСНИКОВ, Владислав КРАПИВИН, Юрий КУРОЧКИН, Давид ЛИВШИЦ (заместитель главного редактора), Геннадий МАШКИН, Николай НИКОНОВ, Анатолий ПОЛЯКОВ, Лев РУМЯНЦЕВ, Константин СКВОРЦОВ, Игорь ТАРАБУКИН (ответственный секретарь), Владимир ТРУСОВ.	
--	--

Художественный редактор Маргарита ГОРШКОВА. Технический редактор Элла МАКСИМОВА. Корректор Майя БУРАНГУЛОВА.	
---	--

Адрес редакции:
Индекс 620219
Свердловск, ГСП-353,
ул. 8 Марта, 8
Телефоны: 51-09-71, 51-22-40

Рукописи не возвращаются
Сдано в набор 30/VII 1975 г.
НС 32200.
Подписано к печати 9/IX 1975 г.
Бумага 84×108^{1/16}.
Бумажных листов 2,62
Печатных листов 8,8
Учетно-издательских листов 10,5
Тираж 275 000.
Заказ 442.
Цена 30 коп.
Типография издательства
«Уральский рабочий».
Свердловск, пр. Ленина, 49.

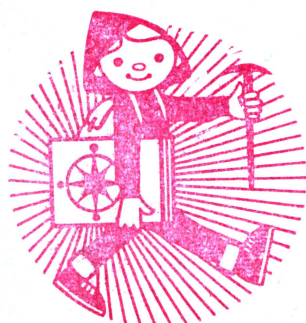
1-я стр. обложки — рис.
З. БАЖЕНОВОЙ.

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО



№11 * 1975

УРАЛЬСКИЙ
СЛЕДОПЫТ

ПЕСНЬ О КРЕЙСЕРЕ

**Борис
КРУПАТКИН**

*Рисунки
А. Казанцева*

Посвящается бывшему старшему гвардейского крейсера «Красный Кавказ» — гвардии капитану I ранга в отставке Агаркову Константину Ивановичу.



Письмо из Севастополя

Вместо пролога

Всякий раз с приходом весны — вот уже несколько лет подряд — мы с внуком начинаем готовиться к летнему путешествию. Много прекрасных мест на земле, где мы с ним мечтаем побывать: Красная площадь, набережная Невы, тихвинские леса, Золотые пески, северные моря, берега Дуная, донецкие степи, острова Океании... Этот мой рассказ — о самой памятной весне, вернувшей меня к далеким берегам моей юности.

Мы сидели на мшистых камнях у озера Шарташ, на окраине Свердловска. В неподвижной воде отражалось светлое безоблачное небо, темная зелень старых сосен и свежая яркая листва молодых берез. Валера устроился на выцветшей плащ-палатке. Высокий крепкий мальчик, не по летам серьезный, в синем спортивном свитере с двумя белыми полосками и в расклешенных черных джинсах, туго опоясанных черным ремнем с якорем на медной бляхе, он выглядел юнгой. Он и был им в душе. Мечты о море наложили отпечаток на его характер, устремления, интересы, и это было загадкой — одной из тех, которые так любит загадывать жизнь. В самом деле, почему уральский мальчик, который родился и жил за тысячи миль от моря, едва научившись держать в руке карандаш, рисует только корабли, а повзрослев, запоем читает книги о море, о военных судах, собирает все, что только может, о фрегате «Владимире», «Варяге», «Стерегущем», «Авроре» и «Червонной Украине», назубок знает строение и вооружение десятков эсминцев, крейсеров, линкоров, подводных лодок, знает героев морских батальонов всех времен? Почему?.. А может быть, и нет тут никакой загадки? Разве не проложены тропы из неприметных глухих сел в космос?!

Ведь я и сам лет сорок назад вот так же бредил морем. Однажды судьба улыбнулась мне, я отправился в дальний поход на прекрасном и могучем крейсере... И хотя не довелось мне стать кадровым моряком, в мечтах своих я никогда не расставался с морем. Эта дедова любовь к морю, наверное, передалась и внуку.

От дальней гористой кромки леса по гладкой шарташской воде несется в нашу сторону белый теплоходик. Он гудит и свистит, как «большой», и, замедляя ход, приближается к шаткой, словно игрушечной, пристани. Жители поселка «Изоплинт» приехали на наш берег и как по команде расходятся по лучистым тропинкам сосновой рощи, за которой широкая лента шоссе.

Борис Львович Крупаткин — участник Великой Отечественной войны, заслуженный работник культуры РСФСР, автор книг «Душа народа», «Голубой Дунай», «Венок Дуная», «День встреч».

— Смотри-ка, откуда люди взялись! — удивляется Валера, глядя на пристань. В самом деле, пустынный, казался бы, берег вдруг ожил, теплоходик быстро наполнился новыми пассажирами и, сотрясая тишину озера мощным гудком, устремился к белым домикам «Изоплинта» на том берегу.

— Ну, дедушка, раскрывай свою тайну! Что за сюрприз ты мне приготовил?.. — Два огромных темных глаза требуют ответа.

Мне хочется обнять внука, но я знаю, что он уже давно считает себя взрослым. Поэтому я лишь прикасаюсь ладонью к его волосам:

— Скажу, раз обещал. Вот, погляди-ка, что пишут мои старые друзья, — я достал из кармана и протянул внуку письмо из Севастополя. Нас обоих приглашали в город-герой.

— В Севастополь! — радостно взвизгнул Валера. Он вскочил, бросился обнимать меня и трудно сказать, кто из нас был счастливее в эти минуты.

— «Красный Кавказ»? — проговорил внук, став вдруг серьезным.

— «Красный Кавказ»!

Это был наш давний пароль, путеводный компас среди многих кораблей, о которых мы говорили, читали и спорили. Это был вестник моей юности — самый красивый, самый могучий, вечно юный боевой корабль «Красный Кавказ»..

Графская пристань

Девиз Валерика (как и у большинства нынешних подростков) — ничему не удивляться... Окажись он вдруг на Марсе — тут же пошел бы искать таинственные каналы, насколько не задумываясь над тем, как он попал на эту планету: «Нормально!» ...Всего три дня назад мы сидели на берегу Шарташа, а сегодня уже бродим в тени колоннады Графской пристани. «Нормально!» А впрочем, могло ли быть иначе? Разве могли мы не приехать сюда? Конечно же, нет! И поэтому мы здесь!

Море!.. Вот оно переливается и плещет у наших ног, рассыпается звучными брызгами на белых камнях широкой лестницы. Спокойно покачиваются у самой пристани корабли. Рядом с белоснежной громадиной «Россией» пришвартовались другие корабли.

Я сижу на теплом камне, прислонившись к ребристой колонне, и не могу оторвать глаз от бухты. Как и много лет назад, она вся в движении. Грузные баржи и юркие теплоходики спешат на Северную сторону и возвращаются обратно. Опережая резкий звук сирены, военные катера лихо мчатся в сторону Приморского бульвара, где в другой уже бухте и в открытом море ждут их корабли.

Валера прикоснулся к моему плечу:

— Дедушка, где стоял «Красный Кавказ»?..

Мы спускаемся к самому морю, стоим на деревянном причале пристани, ощущаем влажное, свежее, трепетное дыхание волн. До нас долетают брызги прибоя.

— Видишь, вон тот мысок напротив? Там он и стоял всегда.

Валерик впился глазами в этот ничем сейчас непримечательный Павловский мыс, и я убежден, что он увидел, несомненно увидел там крейсер «Красный Кавказ»! Столько раз я рассказывал о нем внуку, показывал десятки рисунков и фотографий. Но тут, на Графской пристани, где, кажется, сам воздух овеян славой Черноморского флота и волны неумолчно поют о кораблях-героях, невозможно говорить только об одном своем корабле. Вот совсем рядом, на правой стенке пристани, мемориальная доска в память «Червонной Украины». Крейсер — родной брат «Красного Кавказа» — погиб здесь, у Графской, в ноябре 1941 года, в неравном бою с вражескими самолетами. В этих водах, бок о бок со старым морским богатырем — линкором «Парижская коммуна», прославили свои боевые флаги новый крейсер «Красный Крым» и лидер «Ташкент», а на самом Павловском мыске белеет в зелени обелиск в честь героев легендарного эсминца «Свободный»... Далеко от Черного моря, на уроке рисования в своей свердловской школе, Валерик изобразил геройскую гибель этого эсминца. Только кормовой мостик с зениткой виден в волнах, но последний матрос «Свободного» еще продолжает вести огонь и сбивает фашистский самолет... Вокруг тонущего корабля море кипит от взрывов.

— Как здорово!

Но мое первое знакомство с «Красным Кавказом» произошло задолго до Великой Отечественной. Тогда наш крейсер был действительно самым новым, самым мощным, а уж самым красивым он оставался всегда.

— Смотри! — ухватил меня за руку Валерик.

К причалу пристани подлетел, развернулся боком и мгновенно пришвартовался командирский катер. На корме у бело-голубого военноморского флажка застыл матрос в парадной форме. На борт катера поднялись несколько командиров. Раздалась негромкая команда, катер быстро отшвартовался, рванул вперед, и пенистые буруны почти закрыли от нас неподвижную фигуру матроса на корме. Вот последний раз всплеснулись над волнами ленточки его бескозырки, и катер исчез за поворотом береговой линии.

— Вот бы прокатиться... — мечтательно проговорил Валера.

— А я как раз на таком катере прибыл тогда на «Красный Кавказ». Отсюда же, с Графской пристани...

«Боевой до места!»

Воспоминания

Тогда, в начале тридцатых годов, все было первым: первая пятилетка, первый трактор, первый колхоз... Военно-морской флот получал со стапелей советских заводов первые новые крейсеры и эсминцы и наши моряки готовились к дальним зарубежным плаваниям. Над военным флотом шефствовал комсомол, и ни одно сколько-нибудь важное событие на кораблях не обходилось без участия шифов. Так, летом 1933 года с группой комсомольских работников и журналистов довелось и мне приехать в Севастополь для участия в большом походе флота.

Нас тепло встретили, одели в легкие синие кители морского покроя, правда, без знаков различия (их вообще тогда было очень мало, у командиров на рукавах были лишь нашивки и звезды), в морские фуражки с белым верхом и серебряным крабом... Мы сразу стали казаться (самим себе, конечно!) настоящими морскими волками.

Моим наставником в Севастополе был редактор флотской газеты «Красный черноморец» Павел Мусьяков. Очень высокого роста, он был виден издали, издали был слышен его звонкий голос. Мусьяков сильно заикался, но оживленная жестикулировка скрадывала этот недостаток. В первые же дни мы с ним исходили и изъездили весь город, повидали все памятники и памятные места, побывали на кораблях.

Редактора флотской газеты знали всюду, где мы ни появлялись с ним — в учебном отряде и на линкоре, в политотделе соединения и на маленькой подводной лодке. Старейший комиссар, он везде был своим человеком. Достаточно увидеть, как встречали и провожали Мусьякова краснофлотцы, как крепко жали его руку, чтобы понять: приходил друг.

Видимо, достаточно прismoтревшись ко мне, на третий день нашего знакомства Мусьяков сказал:

— Словом, вот так. На корабли переждем завтра. Поход флота скоро. Наша редакция идет на «Парижской коммуне». Мощный линкор, но старый, тебе будет не очень интересно. Договорился в политотделе бригады крейсеров, — пойдешь на «Красном Кавказе». Этот корабль — завтрашний день флота. Пока в печати его не называем. Пишем: «Крейсер Н.». Вместе с товарищем Ворсистым будешь выпускать газету.

— Стенную? — спросил я.

Мусьяков рассмеялся и сразу заикался:

— Зеленый ты, брат. Стенгазета — это самодеятельность. ...Ник-к-то за краснофлотцев н-не... — фраза повисла в воздухе, но Мусьяков так явно изобразил все жестами, что я все понял без слов: стенгазету краснофлотцы выпускают сами, без посторонней помощи, ведь никто же не помогает им петь и танцевать.

Редактор вынул из стола листок — чуть больше тетрадной страницы. Это была маленькая газета, с печатным шрифтом, «шапками» и даже крошечными клише. Заголовок гласил: «Боевой до места. Орган бюро коллектива ВКП(б) крейсера Н.».

Я никогда не видел такой газеты, долго рассматривал, а затем вслух вопросительно прочел заголовок:

— «Боевой до места?»..

— Удивляешься? — укоризненно проговорил Мусьяков. — А еще на флот приехал. Это же морской сигнал: дойти в полной боевой готовности до места назначения. И выполнить любое задание... Разумеешь? Боевой — до места! Это и тебя касается, друг, коль идешь в поход на боевом корабле.

Назавтра Мусьяков проводил меня на Графскую пристань.

Никогда не забыть то раннее июньское утро. У колоннады над морем собрались молодые шифы. Прибывают командиры разных кораблей флота, один за другим пришвартовываются и уходят в море военные катера.

— Вот и твое начальство,— говорит Мусьяков.

Мы подходим к группе командиров «Красного Кавказа».

Мусьяков представляет меня. Доброе улыбающееся лицо комиссара Савицкого и строгое, даже суровое молодое лицо старшего помощника командира корабля Кузнецова как бы дополняют друг друга.

И вот — наш командирский катер! Сверкающие металлические поручни и деревянные панели вдоль бортов, солнечные блики на каждой медной шайбе, надраенной до блеска. Богатырь-рулевой и замерший, как статуя, краснофлотец на корме у флага...

Кто-то поддержал меня за локоть, кто-то подал руку и вовремя усадил. Мотор рванул катер с такой силой, что казалось, я неминуемо вылету через борт. Катер развернулся, соленые брызги обдали нас, и вот уже мы летим над волнами... Бухта расширяется. На рейде в ослепительных лучах солнца замерли крейсера, эсминцы, сторожевые корабли.

— Вот, прямо у мыса, наш крейсер. Его ни с каким другим кораблем не спутаешь,— это строгий старпом обращается ко мне.

Таким и запомнился мне «Красный Кавказ» на всю жизнь! Действительно, силуэт у крейсера необычный: над широким размахом носовой части возвышается огромная трехногая мачта с несущими площадками для дальномеров и других приборов, а на самом верху мачты — командный пункт — словно орлиное гнездо на вершине утеса. Округлые башни главного калибра, ажурные мачты, катапульта для взлета самолетов — все это, щедро залитое ярким солнцем, создавало неповторимое ощущение легкости, красоты и скрытой силы.

С первого же дня включаюсь в напряженный ритм размеренной и четкой жизни корабля. Побудка, подъем флага, склянки, отбивающие время. Каждый здесь знает свое место и свое дело как бы в двух измерениях: в обычной обстановке и по боевой тревоге. Пока все спокойно. Медленно разворачиваются тяжелые башни. Орудийные расчеты что-то разбирают, чистят, сверяют. Зенитчики колдуют над прицелами. Дежурные команды драят палубы и трапы до невозможного блеска, машинисты и турбинисты, в который уже, наверное, раз, прослушивают механизмы, а в глубине служебных кают штурманы исчерчивают карты морских путей, рассчитывая самый верный маршрут, который строго соответствует сигналу: «Боевой до места»... Словом, как в старой матросской песне: «Корабль несетя полным ходом, машины тихо в нем стучат...» (А крейсер уже в открытом море, машины действительно тихо стучат, и весь корабль дышит и вибрирует им в такт.)

Особой жизнью живет наша маленькая каюта. Мы занимаем ее вдвоем с Виктором Ивановичем, редактором. Здесь наша редакция, что обозначено на медной табличке на узкой двери: «Боевой до места». (Помню, табличка всегда была у нас надраена до блеска, как и все на корабле.)

Койки на день убраны, и вокруг железного столика у раскрытого иллюминатора собрался наш актив — все, кто свободен от вахта. Машинист Авдеев настаивает, чтобы в первом походном номере газеты «звучало», как он говорит, машинное отделение.

— Не будет хода — не будет похода! — радуясь своему умению говорить в рифму, Авдеев добавляет: — Вот и «шапочка» готова к материалу — чем плохо?..

— «Чем плохо?» — иронически повторяет слова Авдеева орудийный наблюдатель по фамилии Свирепый. — Ход дает и пассажирский теплоход. А орудийные башни? — Он свысока смотрит на Авдеева. — Орудийные башни — это и есть крейсер. «Чем плохо!» — Свирепый повторяет авдеевское присловье, словно вбивая последнюю заклепку...

Виктор Иванович прерывает спорщиков:

— Только сейчас был у комиссара. Установка: первая страница — политике. Фашисты грозятся — скажем наше краснофлотское слово в ответ. А оборотку газеты

поделит между всеми: коротко, четко... После ужина сдадим в набор. Сразу после побудки — считка, к завтраку «Боевой до места» должен быть на всех палубах, в котельных и машинном отделении. Такая установка. А сейчас — пошли на беседу старпома с молодыми. Вообще интересно говорит Кузнецов. И для газеты пригодится.

Палуба крейсера на фоне открытого темно-синего моря. В тени орудийной башни сидят молодые краснофлотцы. Бескозырки на коленях. Взгляды всех устремлены на Кузнецова. Старпом стоит возле опущенного ствола орудия. Он высок, строен, подтянут. И речь его такая же ясная, четкая и стройная.

Кузнецов рассказал молодым морякам о необычной истории крейсера. Еще до Октябрьской революции его по заказу российского морского штаба начала строить английская фирма. Строили долго и плохо, хотя имя дали громкое: «Адмирал Лазарев». Когда в России свершилась революция, недостроенный корабль ржавел в Николаевском доке. Все чертежи увезли англичане еще в девятьсот семнадцатом. Но это даже было к лучшему: советские корабли создали совсем новую конструкцию крейсера, от старого не осталось ничего, даже названия. В 1932 году «Красный Кавказ» был спущен на воду. Помню, как Кузнецов любовно провел рукой по стволу орудия, и меня удивило плохо скрытое волнение в голосе этого сурового человека, влюбленного в свой корабль и во флот. Он вплотную подошел к башне и сказал, что самая большая наша гордость — это вооружение крейсера.

Англичане проектировали для «Лазарева» двенадцать пушек среднего калибра под слабыми броневыми щитами. На «Красном Кавказе» всего четыре орудия главного калибра. Но какие! Мощные, дальнобойные, точной стрельбы, в непробиваемых башнях, с механизмами, о которых артиллеристы на других кораблях могли пока только мечтать. Наводка — центральная, приборами, пушки могли бить и по невидимой цели. В нужную минуту на помощь артиллеристам приходили свои корабельные самолеты...

Гидросамолет, взлетающий с палубы крейсера, — это было тогда последним словом военной техники. Даже радиоголос дежурного командира, звучащий одновременно по всему кораблю — от палубы до трюма, — был новинкой: на многих других кораблях пока еще команды по-старому доносились при помощи боцманской дудки, трубы и рупора.

«Пока»... Кузнецов особо подчеркивал это: строились, сходили уже со стапелей и другие новейшие военные корабли, пополняли наши флоты и флотилии на всех морях — Черном, Балтийском, Северном, Каспийском, на Тихом океане...

Пройдет немного лет, и старпом «Красного Кавказа» Николай Герасимович Кузнецов станет народным комиссаром, затем министром Военно-Морского Флота... В моей же памяти он навсегда остался старпомом крейсера — в кругу молодых моряков.

Двадцать дней в открытом море

Воспоминания

С какой скоростью проносятся воспоминания?

Есть восточная притча. Некий могущественный шейх в старости призвал к себе звездочета и потребовал чуда. Кудесник поставил перед шейхом солнечные часы и наказал всей свите соблюдать молчание.

— Закрой глаза, о повелитель вселенной, — обратился звездочет к шейху. — И не открывай их до моего прикосновения.

...Шейх увидел себя ребенком. Он дремал на руках у матери в богатом шатре. Желтые пески пустыни качались, как морские волны. И вдруг тишина взорвалась дикими криками, враги напали на караван его отца. Звон сабель, стоны раненых... Чьи-то руки вырывают мальчика из рук матери. Медленно тянутся долгие годы рабства. Сын шейха живет то в грязном шатре у оазиса, то в глинобитной хижине, то в беломраморном дворце. Ему запрещено отходить от своего повелителя дальше десяти шагов. Он давно уже забыл свое имя, забыл, что он — сын шейха. Он — раб.

Идут годы, вот он уже юноша, уже и зрелый муж. Он доволен жизнью, бесстрашный и жестокий воин в свите своего повелителя... Но ничто не вечно, и по воле аллаха в одной из схваток он был захвачен в плен. Ему грозила казнь, но когда он был уже в руках палача, повелитель его врагов узнал в нем своего сына — по одному ему известным приметам...

Прошли еще годы, отец умер, завещав сыну свои владения. И вот он сам — повелитель. В его дворцах любимые жены, и старший сын всегда с ним рядом. Его борода поседела, он схоронил многих близких и все сильнее ощущает тяжесть прожитых лет... Годы идут за годами, по воле аллаха черная оспа унесла в черные пески любимого сына, а он сам — стар и немощен...

— Открой глаза, о повелитель вселенной! — звездочет едва прикоснулся к его плечу. Шейх в страхе поднял веки. Рядом с ним сидели его любимый сын, визирь, свита... Узкая тень солнечных часов едва передвинулась от одного деления к другому. Лишь мгновения прошли за то время, пока шейх сидел с закрытыми глазами. А воспоминания со скоростью скакуна, пронесли перед ним всю его долгую жизнь...

С какой же скоростью проносятся воспоминания?

Мы сидим с внуком на теплых камнях широкой лестницы у моря. Я слежу за взглядом внука, как будто вижу ту же бухту и те же корабли, но волны уплывают вдаль, в открытое море, плывут, плывут, и проносятся в сердце воспоминания. Воспоминания о тех далеких предвоенных днях, мирных, но уже с зарницами приближающейся грозы.

...Раннее утро на крейсере. Стоим на якорях в море. В иллюминаторе плещут серые волны. С левого борта грозно покачивается линкор, вдалеке — строй эсминцев. На корабле читают еще пахнущий типографской краской первый номер «Боевого до места». Его с самого утра разносят прямо из типографии — крошечного кубрика, тесно уставленного наборными кассами. Здесь же и маленькая круглая печатная машина...

По радио объявляется авральная уборка. Выходим в открытое море. Сквозь облачное небо пробиваются лучи солнца.

Звучит труба. Радио доносит во все отсеки корабля ее характерный — беспокойный и резкий — звук. Боевая тревога!.. Мгновенно жизнь крейсера переходит в то второе измерение, в котором заключен весь смысл его существования. В первые секунды возникает ощущение чего-то тревожно-неясного: по всем палубам, по всем трапам бегут, бегут, бегут краснофлотцы вверх, вниз, навстречу друг другу. Топот ног — в полном безмолвии. И лишь все тот же беспокойный резкий звук трубы... Но очень скоро становится ясно: всюду здесь предельно четкий, идеальный порядок — результат длительного упорного труда и выучки. Каждый на своем месте в полной боевой готовности.

— Задраить все люки и иллюминаторы! — раздается команда.

— Есть, задраить все люки и иллюминаторы! — эхом отвечает крейсер. Он готов к выполнению любого задания. Грозно разворачиваются башни, орудия нацелены в одну сторону. На горизонте — корабли «противника». Медленно двинулись встречным курсом. Сейчас грянет морской «бой».

Серым ветреным утром подошли к эскадре. Тяжелые свинцовые волны медленно перекачиваются, глухо ударяют о борт корабля. Крейсер включается в бесшумный разговор прожекторов с флагманского линкора. Вспыхивают и гаснут и снова вспыхивают мощные прожектора. По радио звучат уже расшифрованные команды. На борту нашего крейсера, как и на всех других кораблях эскадры, замерла ровная черно-белая кайма. Это выстроилась команда (в форме № 2 — черные брюки, белые матроски и кителя).

Блестящий командирский катер под стягом командующего флотом отваливает от трапа линкора и, ныряя в волнах, объезжает эскадру. Вместе с брызгами волн ветер доносит приветственное «Ура!», звуки оркестров.

Всплыли подводные лодки. На их узких спинах вмиг вырастает такая же черно-белая кайма: экипажи в парадной форме приветствуют командующего.

Вечером огни эскадры — словно огни большого города в открытом море.

На кораблях звучат песни, музыка. Звучат они и на юте «Красного Кавказа», освещенном прожектором. Один за другим выходят в круг певцы и поют, кто под гитару, кто под баян. Разносятся по морю песни новые («Ты, моряк, красив сам собою, — тебе от роду двадцать лет», «По морям — по волнам...») и старые, извечные матросские песни («Раскинулось море широко...»). Были песни с новыми словами, приспособленными к старинным мотивам:

*Оружием на солнце сверкая,
на рейде стоят крейсера...*

А с рассветом крейсер опять живет одним — подготовкой к полному ходу. Все начальство корабля — в машинном, в котельных. Турбинисты, машинисты — герои дня. Наш «Боевой до места» вышел под звонкой шапкой: «Полный вперед!..» Военкор машинист Авдеев успел вечером дважды забежать в типографию, прочел от строчки до строчки маленькие странички и сказал:

— Готовьте новую «шапку» про наше первенство. Это факт. Полным ходом — победа в походе! Чем плохо!.. И тут уж никто ему не возразил.

С утра двинулись всей эскадрой. Могучие военные корабли сначала шли в кильватер — строго в затылок один другому, затем по сигналу («Поворот все вдруг» линкор, крейсера, эсминцы и канонерки быстро перестроились и пошли развернутым фронтом. Но вот вновь сверкнули молнии прожекторных сигналов с флагманского линкора, и вся эскадра рассеялась по морю. В ряд, нос к носу, стали три крейсера: «Красный Кавказ», «Червона Украина», «Профинтерн».

— Вперед!

Глубоко рассекая волны острыми носами, в бурунах пены, крейсера рванулись, понеслись!.. 20 узлов... 25 узлов... 28 узлов.

Самый полный!..

Крейсера мчатся, как торпеды, то глубоко погружаясь в волны, то высоко взлетая... Кажется, море вокруг кипит и дымит. Но вот нарушается строй кораблей, на миг вперед вырывается «Профинтерн», его быстро обгоняет «Червона Украина», но мы уже поравнялись с ее кормой. Нам кажется, что мы слышим тяжелое, напряженное дыхание наших машинистов!.. Еще рывок — и наш крейсер впереди!

Вот она скрытая сила второго измерения!.. «Красный Кавказ» мчится в открытое море. Вот уже из голубой дали доносятся приветственные молнии прожекторных сигналов флагмана флота — со скрытого в морской дымке, чуть видимого линкора «Парижская коммуна».

Эскадра держит путь на Одессу. А в пути — стрельбы. И снова весь крейсер в напряжении, но теперь главное внимание — артиллеристам. Наверное, по-своему прав наблюдатель Свирипей: крейсер — это орудийные башни. Здесь — его огневая мощь...

Артиллеристы корабля для меня воплощались в те дни в одном человеке: командире второй башни. Константин Агарков, молодой лейтенант, коренастый, с круглой коротко стриженной головой, с крупными чертами крестьянского лица, скорее походил на колхозного тракториста. Но это был один из богов морской войны. Он уверенно владел всеми специальностями крейсерской артиллерии. Грозную орудийную башню свою лейтенант знал не хуже, чем обжитый кубрик. Но сейчас он держал экзамен не только за себя, за весь корабль... Константин удивительно спокоен, хотя стрельбы ожидалась очень сложные — на больших скоростях, по движущейся мишени.

Длинноствольное дальнобойное орудие давно готово к бою, Агарков не раз проверил механизмы наведения, поговорил с наводчиками, с электриками, спускался в «элеватор», откуда подаются снаряды, проверил порядок в «погребах», посидел и на своем командном пункте... А сигнала все не было...

Наступил синий вечер, быстро наполнила на море и густая темная ночь. Наверное, облачно: ни луны, ни звезд. Крейсер мчится в ночь, строго по курсу. Жизнь постепенно замирает. Поэтому все решили, что стрельбы перенесены на завтра...

Но вдруг запела труба. Боевая тревога! По радио передается короткий приказ — быть готовым к ночным артиллерийским стрельбам! Мгновенно вспыхивают прожектора, лучи вырывают из темноты эсминец, буксирующей на длинных тросах шхуны. Они быстро движутся, пропадают в волнах и снова появляются, исчезают в ночи и вновь возникают в луче прожектора, как призраки. Это — цели, и их нужно поразить.

Крейсер на боевом курсе. Едва светятся приборы башен. Не свожу глаз со второй башни. Где Константин? На своем командном пункте? А может быть, поднялся выше — на формарс?

— Залп!.. — Все, кто был на корабле, почувствовали силу могучих выстрелов. Кажется, крейсер слегка отпрянул назад. Стволы осветились вспышками желтых огней, снаряды умчались в ночь.

— Первая башня!..

— Вторая башня!..

— Залп!..

— Залп!..

Труба сыграла отбой. Корабль осветился огнями. Наш катерок отошел от крейсера для встречи с наблюдателями, узнать результаты стрельбы. Когда через час я встретил у трапа легко взбегающего на борт Агаркова, вопросы были не нужны. Веселое лицо Константина ясно говорило об успехе:

— Все цели накрыли. Порядок!..

— Теперь отдыхать... Заслужили.

Но не успели мы разойтись по каютам, как вновь тревожно и резко заиграла труба.

— Боевая тревога! Задраить все люки и иллюминаторы! Погасить все огни!.. Все по местам!.. Боевая тревога!..

Меняется курс, впереди вырастает темный и грозный силуэт линкора. Пристраиваемся в кильватер, следуя за едва заметными на его корме и мачтах зелеными огоньками. За нами, почти невидимо, также в кильватерном строю движется вся эскадра.

Идем в ночь, в открытое море. Кроме хвостовых огоньков линкора впереди — абсолютная темнота.

И вдруг ночь разрывается, как вспоротая кинжалом. — Внимание! Внимание! Поворот все вдруг!.. Отразить торпедную атаку!

— Огонь — всеми видами оружия!..

— Залп!

— Залп!

Вмиг на всех кораблях вспыхнули прожекторы, замесались по волнам яркие лучи, и мы увидели, как со всех сторон из ночной тьмы мчатся на эскадру десятки черных ревущих молний. Торпедные катера!.. Готовые в любую минуту выпустить свой смертоносный груз, они

метались среди пенящихся волн, стремились выскользнуть из лучей прожекторов и незаметно приблизиться к борту корабля...

В настоящей боевой схватке такой ночной налет «москитного флота» дорого обошелся бы эскадре, хотя неминуемая гибель ждала бы и многих бесстрашных катерников. Стремясь нанести врагу сокрушительный удар, они несутся почти на верную гибель.

Для нас всех это была лишь ночь учений, но память надолго сохранит мечущиеся лучи прожекторов над ночным морем, безмолвие могучей эскадры, готовой к отражению торпедной атаки, и беззаветную удаль летящих над волнами из тьмы стремительных катеров.

Через 33 года адмирал Н. Г. Кузнецов напишет: *«Припоминаю трагическую ночь на 22 июня 1941 года. В 3 часа 07 минут немецкая авиация совершила налет на Севастополь... Война началась. Но в ту роковую ночь мы не потеряли ни одного корабля. Эта способность Черноморского флота отразить нападение гитлеровцев приобреталась годами, нелегкими боевыми учениями и маневрами кораблей и соединений, постоянно выковывалась в борьбе за «первый залп».*

Цветы и музыка! Музыка и цветы! Одесса впервые встречает корабли советского Черноморского военного флота в июне девятьсот тридцать третьего.

Праздники пролетают быстро. По отсекам корабля прозвучала команда: «С якоря сниматься!..» «Боевой до места» в этот день вышел под «шапкой»: «Поход продолжается. Курс — на базу флота».

Выходим в ночь, притушив все огни, задраив иллюминаторы. Лишь на мачте мерцает зеленый кильватерный огонек. Вдали — чужие берега, над ними бушует далекая гроза. Море слегка штормит, откликаясь на дальнюю бурю. Вдруг ослепительно яркий свет выхватывает из темноты корабль, черные громады волн и очертания берега на горизонте. Будто огненный шар взлетает вверх, разрывается длинными молниями... Гроза пришла...

С утра шторм усилился. Крейсер бросает с боку на бок, огромные волны перекачиваются по верхней палубе, хлещут о мачты... С мостика видно, как тяжело режет носом бушующие волны «Червона Украина», как совсем утопают в волнах эсминцы... Но эскадра четко выполняет все команды.

В конце дня стали на рейде у своего Павловского мыска, на виду Приморского бульвара. На мачтах флаги расцветивания. Позади двадцать дней в открытом море, дни и ночи боевых учений.

К вечеру на палубе построение всех, кто ходит на берег. У трапов ждут катера и баркасы. Слова прощания и пожеланий и — сюрпризом: перед строем оглашается письменная благодарность шефам «Боевого до места» от командования бригады крейсеров флота.

Последний раз обхожу «Красный Кавказ», оглядывая весь корабль долгим взглядом. Через несколько минут сверкающий командирский катер «Красного Кавказа» (тогда еще крейсера Н.) лихо подошел к причалу, на ходу развернулся, мгновенно пришвартовался, и я ступил на землю Севастополя.

Это было сорок лет назад — здесь, на этом вот причале, на этих вот белых лестницах Графской пристани.

Башня ветров

— Вот вы где, голубчики! Конечно же, на Графской... Чем плохо!

По белым ступеням к затененному колоннами углу причала, где сидели мы с Валерой, спустился, постукивая палочкой, Анатолий Федоро-

вич Авдеев. Тот самый Авдеев, машинист с «Красного Кавказа». Бывший машинист с бывшего крейсера Н., ныне заслуженный учитель, ветеран флота, инвалид Отечественной войны, один из наших гостеприимных друзей и хозяев в Севастополе. Он расстался с «Красным Кавказом» еще до войны, стал штурманом, ходил на эсминцах, сменяя их в войну «по мере потопления». До тех пор, пока вообще мог ходить. А потом — инвалидность, пединститут и — школа.

Конечно же, Авдеев изменился, постарел. Но по-прежнему он весь белый (теперь-то уж седой), а брови — черные-пречерные. Тот же быстрый взгляд и совсем тот же говор, те же прибаутки. Наверное, интересно слушать его ученикам на уроках истории: все-таки не совсем обычный учитель!

— Давно на пристани? — спрашивает Анатолий Федорович, присаживаясь рядом. — Чем заняться? Спустились бы еще ниже, рыбку половили.

— Да нет. Все чудится: вон там «Красный Кавказ» стоит...

— Обычное дело. Воспоминания, как минный трал: начнешь — не знаешь, где кончишь... Пойдешь, скажем, с младшим классом в Артиллерийскую бухту, пока ждем теплоходика в Учкучевку, ребятишки бегают, веселятся, песни поют, а я вот тоже смотрю на Константиновскую батарею и вижу свой «Красный Кавказ» — пришвартовывается, встает на бочку... Часто вижу, будто наяву. Воспоминания — обычное дело. Все ими болеют. Эпидемия... Ну а сейчас к Башне ветров. Оттуда весь Севастополь как на ладони. А куда дальше, сама Башня подскажет. — Авдеев хитро подмигнул внуку. Но Валера даже не улыбнулся. Он весь полон впечатлениями.

От Графской пристани выходим на площадь Нахимова. По мнению Авдеева, это самая красивая площадь в мире, ведь она бесконечна — ее продолжает море... Бесспорно, площадь очень красива, величественна и никого не оставит равнодушным. Часами можно стоять у памятника адмиралу Нахимову. Можно смотреть на него с пристани, со стороны бульвара — он изумительно вписывается в панораму белого города, поднимающегося вверх. А как волнующе-прекрасна спокойная, уверенная фигура адмирала на голубом фоне моря!..

Мимо окаймленного густой зеленью памятного мемориала Авдеев ведет нас к Матросскому бульвару. Это совсем особый бульвар (встарь называли его Мичманским). Он вознесен высоко над морем, над Приморским бульваром, над первым кольцом севастопольских улиц. Здесь — тишина, чистота, бульвар чем-то напоминает верхнюю палубу огромного корабля... Кто из бывавших в этом городе не знает памятника капитану Казарскому и брига «Меркурий»: на высоком пьедестале — силуэт античного военного корабля, а под ним ставшие афоризмом

слова: «Казарскому. Потомству в пример». Памятник установлен у входа на Матросский бульвар. А подвиг «Меркурия» — несравненный блистательный победоносный бой двухмачтового парусника с турецкой эскадрой в составе линкоров и многих других судов. 184 крупнокалиберных орудия в неравном бою против небольшого брига нанесли «Меркурию» около трехсот повреждений, и все-таки бриг вышел победителем... Корма «Меркурия» украсилась георгиевским флагом, впервые в Российском флоте.

— Так и наш «Красный Кавказ», первым на всех флотах получил звание гвардейского, — заметил у памятника Авдеев. — Потомству в пример... Обелиска достоин наш крейсер, памятника...

На Нагорной площади, в тени старых деревьев, весь в снарядных осколках старый собор. Он давно уже не служит церковникам, но место это свято в памяти народной. Никто не помнит, как когда-то именовали собор, давно зовут его Адмиральским и приходят к нему с цветами: здесь схоронены великие адмиралы — Лазарев, Нахимов, Корнилов, Истомина.

Обо всем этом на ходу рассказывает Авдеев, постукивая своей палочкой, и мы признаем в нашем друге учителя истории:

— Ветер веков пронесется над усыпальницей адмиралов и время не властно над их бессмертными именами. И Башня ветров хранит их вечный покой... Вот она перед вами, рядом с собором — слепок древнейшей мраморной башни в Афинах...

Мы действительно увидели высокую старую башню среди остатков былых строений, конечно, не мраморную, но не менее загадочную.

— Башня ветров — наш севастопольский долгожитель, ей почти полтора столетия лет. Когда-то она служила для вентиляции книгохранилищ старой морской библиотеки. Библиотека давно разрушена, осталась одна башня. Живет сама по себе, командует ветрами, хранит усыпальницу адмиралов. Чем плохо!..

Мы подошли к Башне. Вестником прошлых веков она возвышалась над городом, старая, но не обветшавшая. Как страж города-крепости, непоколебимо стояла Башня, и морские ветры звучали в ее створах даже в этот тихий солнечный день.

— Посидим в теничке, — Анатолий Федорович присел на ступеньку Адмиральского собора под приземистой акацией. Видимо, ходить ему не легко, хотя бодрится старый моряк. Башня ветров перед нами, казалось, тихо покачивалась на фоне плывущих облаков.

— Плывет... — проговорил и Авдеев. — Мираж. А вот когда на море заштормит, да задует здесь, на Нагорной, тут уж на все голоса поет Башня, поет и будто к морю рвется...

Валерик не сводил глаз со старой Башни.

— Я читал, что в первую оборону Севастополя Корнилов и Нахимов наблюдали с нее за морем. — Валерик то ли сам отвечал своим мыслям, то ли спрашивал Авдеева.

— Могло статься, был здесь тогда главный наблюдательный пункт — это точно, — утвердительно покивал учитель. — Корнилов и Нахимов бывали здесь. А в библиотеке госпиталь находился. Сам Пирогов в нем оперировал... Жаль только — молчат камни старой Башни... А в Отечественную что тут было! На Нагорной каждый камень воевал, все вокруг Башни горело!... — Анатолий Федорович встал, подвел Валерика ближе. Старый моряк и мальчик коснулись руками теплых камней Башни. — Вниз смотри, — Авдеев оперся рукой о плечо Валерика. — Вот Большая Морская — шумит, кипит, к морю бежит. Даже в Одессе нет такой улицы! А когда пришли мы в Севастополь в сорок четвертом, прошли по развалинам до самого Приморского бульвара, по всей Большой Морской насчитали только три дома. Представь, парень!.. И погляди, что сейчас кругом!

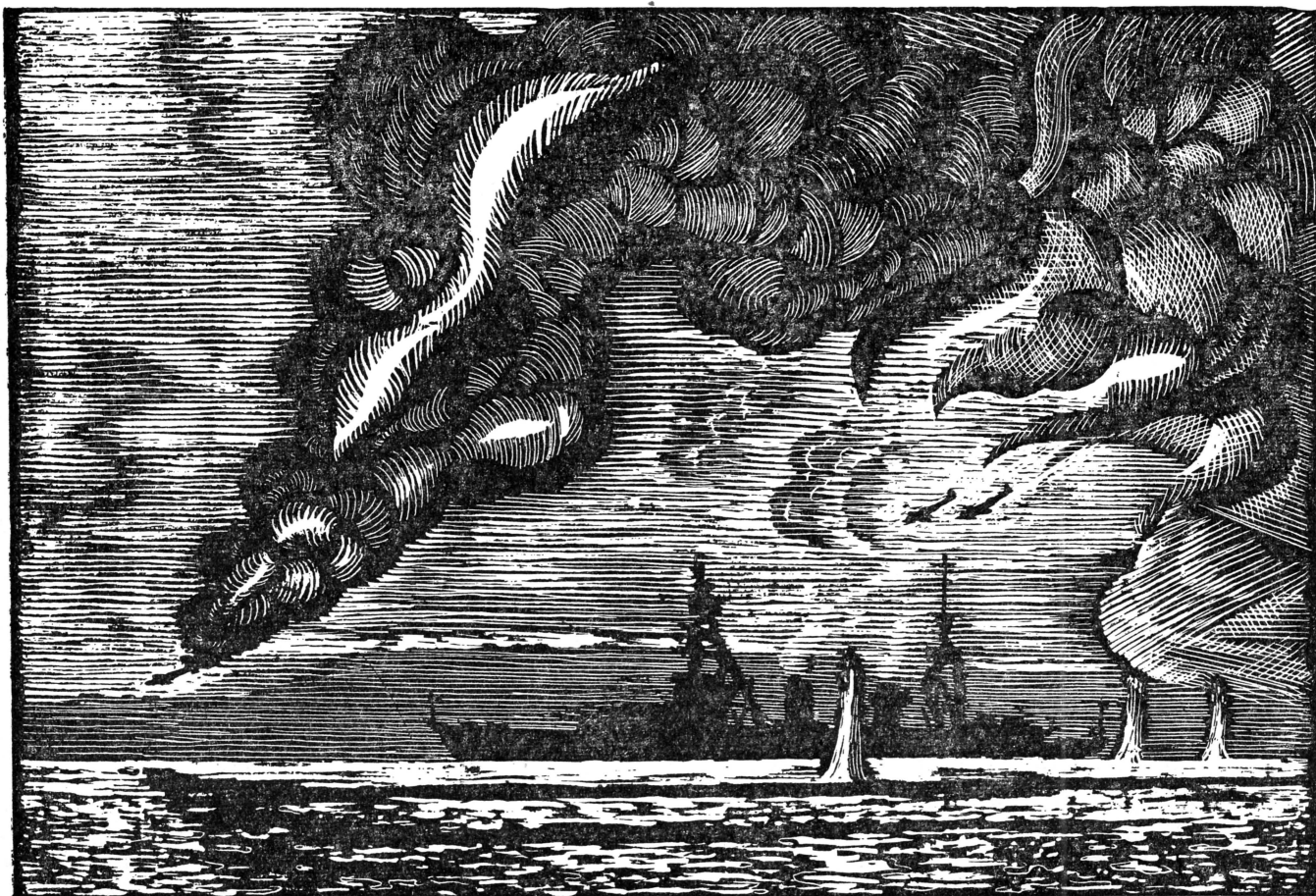
Так с Башни ветров начали мы знакомство со старым и новым Севастополем.

«Зеркало морей»

*Немного размышлений
о штормах, якорях
и швартовке*

— Что читаешь, Валера? — мы сидели у самой кромки берега, в тени обвитой плющом каменной арки. Ждали Авдеева.

— Нашел в книжном шкафу у Анатолия Федоровича. Интересно... — Валера протянул мне потрепанную книгу в ярко раскрашенной мягкой обложке. Джозеф Конрад «Зеркало морей»... Что-то дрогнуло во мне: тоже вестник далекой юности. Помню, в молодые годы я увлекался Конрадом. Хотя он считался английским писателем, но не был он англичанином. Настоящее имя его было Юзеф, а фамилия не то польская, то ли белорусская — Коженевский, отец его был ссыльный польский революционер. Родился Юзеф на Украине, в Бердичеве, детство прошло в Вологде, а с морем он впервые встретился в Одессе... И море властно позвало его. Юзеф порывает с подневольной жизнью в России,



бежит в Марсель, нанимается матросом, затем перебирается в Англию — и становится английским моряком, а потом и английским писателем. И я зачитывался его морскими романами и повестями, в которых действовали смелые, гордые люди, влюбленные в море: «Фрейя Семи Островов», «Тайфун», «Лорд Джим»... Но «Зеркало морей» я не встречал никогда.

Пробегаю глазами первую страницу:

«В книге, откровенной, как предсмертная исповедь, я пытался раскрыть сущность моей ненасытной любви к морю... Это не исповедь в грехах, а исповедь в чувствах. Это — наилучшая дань вечному морю, кораблям, которых уже нет, и простым людям, окончившим свой жизненный путь».

Каждый человек читает книгу и слушает музыку по-своему. Одни и те же слова и звуки кого-то оставят равнодушными, у другого вызовут в душе бурю...

Море для Конрада — живое существо. И все, что происходит на море, — это не что иное, как дыхание, голос, крик, радость, ненависть, гнев, отчаяние живой жизни волн, ветра. Море — друг или враг человека, и он роднится с ним или борется с ним, покаяясь его своей силой, мужеством.

Арена извечного поединка Человека и моря — шторм.

Как и все живое, штормы многообразны. Но отличает их не сила вихря и не высота несущихся волн. «Их отличаешь по чувствам, которые они в тебе вызывают». Одни угнетают, давят, нагоняют уныние, другие, свирепые и жуткие, «пугают, как вампиры», третьи — поражают «каким-то зловещим великолепием». Как бы ни ревели, ни стонали, ни выли они, только голос Человека, противостоящего буре, его волевая команда, перекрывающая гул урагана, только мужественный человеческий голос «придает нечто одушевленное шторму, морю»...

Валера, видимо, следил за теми страницами, которые я прочитывал. Наконец, он не выдержал, взял у меня книгу и раскрыл ее в том месте, где старый моряк с волнением говорит о якоре. И глава эта называется «Символ надежды».

«Прежде, чем сняться с якоря, необходимо якорь «отдать». Это совершенно очевидная истина». Конрад с презрением клеймит тех, кто неуважительно говорит вместо этого — «бросать якорь»...

Якоря — остроумное изобретение, они невелики по размеру и весу по сравнению с кораблем. «Будь они золотые, они сошли бы за безделушки, за драгоценные украшения, не больше сережки в женском ухе». А между тем от якоря часто зависит участь корабля.

Валерик читает вслух:

«У этого грубого, но честного куска железа,

такого простого на вид, больше частей, чем у человеческого тела членов: кольцо, шток, вертено, лапы, зубцы... На него можно рассчитывать. Дайте ему за что зацепиться, и он будет держать судно вечно...» Якорь — символ надежды, — задумчиво повторил Валера. И быстро перевернул страницу. «Отдать якорь!» — последняя торжественная команда морского похода, — прочел он и посмотрел на меня поверх раскрытой книги. — «Отдать якорь»... — повторил тихо.

Мы долго молчали, глядя на море и корабли.

Подошел Авдеев, присел рядом. Валера и ему с удовольствием прочел главу о якорях.

Анатолий Федорович усмехнулся, взял книгу Конрада.

— Да, любил море человек, ничего не скажешь... Душевно любил. И про якорь правильно написал. Но большому кораблю — швартовка главное. Вон корабли на «бочках» стоят. — Мы вместе с Авдеевым взглянули на бухту. Военные корабли были почти неподвижны. Стальные тросы крепко держали их у небольших «бочек». — А как стать на эту маленькую «бочку» тяжелому крейсеру? — Авдеев хитро улыбнулся. — Море — не асфальт, и корабль — не автобус. Волны, ветер, а то и штормит — относит, разворачивает. Не просто даже подойти к «бочке». А нужно ведь тросы закрепить за ее кольцо. А она пляшет в волнах. А крепить надо быстро, четко — не в игрушки играть... Сколько кораблей — столько и швартовок. Посмотришь, как кто швартуется — сразу узнаешь, чего стоит команда. Видел бы Конрад, как швартовался «Красный Кавказ»? Это не якорь отдать. Вся эскадра любовалась. Поэма!.. — Авдеев долго молчал, не сводя глаз с памятного Павловского мыска. — Как сейчас вижу и слышу... Резко командует швартовку старпом Кузнецов. Боцманская команда берет ходовой конец троса, крейсер еще режет волны, а шлюпка с матросами и тросом уже в море, мчится к «бочке». Вот она обогнала крейсер. Корабль подходит, а швартовая команда уже на «бочке». Трос закреплен мгновенно, и пусть беснуются волны — крейсер на аркане. Пришвартовались по-своему. «По-кавказски», — как говорили на флоте. Думаете, хвастает старый моряк. Нет! Я ведь теперь учитель истории и могу засвидетельствовать как исторический факт: на дымовой трубе «Красного Кавказа» до самой войны сияла красная звезда с золотой окаемкой. То значило — первый корабль на всех флотах, победитель Всесоюзного социалистического соревнования. Агарков подтвердит. Неплохо!.. А вот представь, парень, — Авдеев повернулся к Валере, — представь, что крейсеру швартоваться надо под обстрелом снарядов и мин. Не только волны и ветер, артиллерия бьет прямой наводкой, люди гибнут, а швартовка идет... Крейсер высаживает десант. Сно-

ровка пригодилась, и это уже подвиг. И это тоже — «Красный Кавказ!»... Но о том уж не мне рассказывать, а Агаркову. Повидаемся с Константином Ивановичем — не то услышишь. Легенда!

Песнь о крейсере

Черноморская быль

Мы ждали встречи с Агарковым.

Конечно, я не забыл молодого лейтенанта, командира второй орудийной башни крейсера в походе тысяча девятьсот тридцать третьего года. Помнится округлое лицо крестьянского парня, его уверенная походка по палубе корабля, его изумительное спокойствие при труднейших ночных стрельбах... Я и сейчас вижу молодого командира на наблюдательном пункте, решительных взмах его руки, слышу громовой басовый голос и протяжную команду: «О-гонь!»...

Минуло больше четырех десятилетий. Сколько волн перекатилось... В войну Константин Иванович Агарков был старшим помощником командира крейсера. Теперь он — капитан первого ранга в отставке.

Вчера он приехал в город и сегодня созвонились. В трубке тот же агарковский артиллерийский бас:

— Коль разговор о крейсере, да еще внучек здесь, давайте сначала встретимся в музее Флота, в комнате ветеранов, — предложил Константин Иванович.

...Авдеев сидит в сторонке, улыбается про себя. Доволен: неплохо получилось! Валера устроился в глубоком кожаном кресле — его не слышно и не видно, но он все видит, слышит, запоминает. Он уже обошел музей Флота (потом побывает здесь еще много раз), долго стоял перед моделью «Красного Кавказа», рассмотрел все фотографии героев крейсера, осторожно прикоснулся к его гвардейскому знамени... Сейчас он не сводит глаз с Агаркова.

Бритоголовый, загорелый, с крупными чертами лица, с резкими складками на лбу и глубоко сидящими глазами, он по-прежнему похож на много потрудившегося крестьянина, но только теперь уже не на тракториста, а на многоопытного колхозного председателя... Это о нем командир «Красного Кавказа» контр-адмирал Гуцин скажет потом: «Железный старпом».

Сейчас «Железный старпом» смущенно улыбается, по-стариковски покашливает, несколько раз вытирает большим клетчатый платком бритую голову.

Первый корабль как первая любовь. Где бы ни довелось впоследствии служить и плавать, первый — не забывается.

Разговор о своем крейсере Агарков ведет, как о живом существе, как о неотъемлемой частице своей жизни, — своей молодости, зрелости и старости, с непередаваемым чувством сопричастия. Для него «Красный Кавказ» — первый и единственный, и неизменный корабль за все долгие годы учений, походов, боев.

С первых же часов войны «Красный Кавказ» — в полной боевой. Уже утром 23 июня крейсер вышел в море на постановку мин. Самолеты со свастикой тут же впервые и появились над ним. Молодые зенитчики отбили атаку.

Клубок войны разматывался быстро и грозно. «Красный Кавказ» — в Новороссийске, прорывается с подмогой в Севастополь. Снова Новороссийск и рейд с десантом морской пехоты на Одессу. Орудия главного калибра крейсера ведут огонь по позициям врага, по его танкам и укреплениям. Зенитчики отбивают атаки «хейнкелей». Пороховой дым окутывает корабль. Появляются пробоины, под огнем увозят тяжелораненых...

Помнит Агарков, как отбирали первых добровольцев в сводный полк морской пехоты. Требовалось человек тридцать — рвались в бой сотни...

Помнит Константин Иванович подвиг корабельных артиллеристов Михаила Мартынова и Филиппа Бовта. Крейсер вел огонь орудиями главного калибра. Каждый снаряд должен бить в цель, помогать нашим частям в тяжелых боях. А это трудно, почти невозможно. Над «Красным Кавказом» бесновались «юнкерсы», море буквально кипело. И в эту кипень от трапа крейсера отошла шлюпка. Двое бесстрашных артиллеристов поплыли к Одессе... Как удалось героям пристать к берегу, как сумели они скрытно наблюдать за врагом — трудно представить. Но в радиорубке «Красного Кавказа» уверенно зазвучали с берега позывные крейсерских разведчиков, снаряды с корабля пошли с точным прицелом — по танкам, по пушкам врага... Мартынов и Бовт видели в стереотрубу, как поднялись в контратаку защитники Одессы. Среди них была и морская пехота... Ночью шлюпка героев-разведчиков пристала к крейсеру. Задание высшей трудности было выполнено.

Но все это оказалось прелюдией. Подвиг из подвигов свершается в штормовые дни и ночи конца декабря. В канун нового 1942 года «Красный Кавказ» выступил ведущей силой в легендарной Керченско-Феодосийской десантной операции — одной из самых крупных и самых смелых за всю войну.

Константин Иванович поднимается и медленно прохаживается среди шкафов, набитых книгами, мимо моделей военных кораблей, реликвий морских батальев.

— Все помнится, а рассказывать трудно... Не упустить бы главное. А что главное? Как Гуцин

в шторм, под огнем управлял крейсером? Как не переставал держать связь весь израненный сигнальщик Печенкин у фонаря ратьера? Как бесперебойно били под градом осколков счетверенные пулеметы Буркина?.. Как гасил своим телом горящие пороховые пакеты краснофлотец Покутный?! Все стоит перед глазами... — Агарков тяжело опустился в кресло. Он долго молчал. Кажется, он забыл о нас среди нахлынувших воспоминаний...

Тут подал голос Авдеев. Он сидел у круглого музейного столика и сосредоточенно рассматривал подшивку фотокопий газет и листовок военных лет.

— Нашел, Константин Иванович! — обратился он к Агаркову. — Вот листовка, что мы, помнишь, искали. Лежит меж газет, не заметишь. Три раза листал — не углядел. Вот она. Издание политуправления флота. Год 1942. «Прочти и передай товарищу. Распространяй среди населения». Авдеев подтащил подшивку к окну и стал нам читать, все более волнуясь:

«Грозный и могучий ходит по Черному морю «Красный Кавказ». Внезапно появляясь у берегов, занятых противником, он обрушивает на головы фашистских захватчиков тонны смертоносного груза»...

— На песню о Соколе похоже... — неожиданно для всех произнес Валера, покраснел и еще глубже ушел в спасительное кресло.

— Да... Безумству храбрых... — Агарков взял у Авдеева фронтовую подшивку газет и листовок.

— «Грозный и могучий»... «Неожиданно появляясь у берегов»... Как о «Варяге» или «Меркурии» написано. Если б могли услышать те, кто погибли! А мы, живые, продолжали выполнять боевой приказ. И сначала даже не ощутили всего размаха операции. Каждый делал свое дело — так и слагался подвиг крейсера... Потом еще полетели с неба и мины. Запомнились зеленые парашюты, на которых они опускались.

А крейсер воевал.

...«Красный Кавказ» полным ходом идет на Феодосию. Ночь. В кильватере — крейсер «Красный Крым», эсминцы «Шаумян», «Незаможник», «Железняков», катера-охотники, тральщики.

Кроме команды, на борту «Красного Кавказа» тысяча восьмьсот десантников! У Феодосии уже ведут бой эсминцы. Крейсер врывается в порт. Нужно швартоваться и высадить десант. Прожекторы немцев освещают палубу, вражеская артиллерия яростно и прицельно бьет по кораблю. Старпом руководит швартовкой. Его видят и на носу, и на юте. Наверное, в этом бою и прозвали Агаркова «Железным старпомом». Горит сигнальный мостик, гибнут один за другим связисты, сигнальщики. Пожар — на ходовом мостике. Гибнет старшина группы Колесник... А крейсер, несмотря на обстрел и пожары, не-

отступно идет к молу. По палубе бьют уже немецкие автоматчики. Падают раненые из боцманской команды... Агарков стоит во весь рост, командует швартовкой: на бушующих волнах баркас с тросом, с левого борта гремит якорь. Громада крейсера у самого мола... Швартовка еще не закончена, а уже спущен трап и десант устремился на катера — к берегу.

Первые группы десантников вели бой на пристани, а «Красный Кавказ» вступал в поединок с его дальнобойной артиллерией, счетверенные пулеметы корабля вели дуэль с немецкими минометчиками и автоматчиками.

С каким-то особым волнением бывший старпом называет фамилию командира отделения зенитного дивизиона Моценко. Его спаренная установка сбивала пять фашистских самолетов, подавила несколько батарей.

— Видели бы вы его сейчас, в праздничный день! Наград у него на груди — ни у кого в Севастополе столько нет. За милю сверкает Моценко, когда идет по городу при всех орденах!

Прерывается и вновь течет беседа, и снова перед нами грозные картины десанта.

— На рассвете тридцатого декабря я смог доложить командиру, что готовим сходни — с кормы на мол... Каждая секунда на счету, а между молотом и кораблем все еще была вода, довольно широкая полоса. И тут вдруг без всякой команды краснофлотец Михаил Федоткин метнулся к причалу, мгновенно закрепил последний трос, поставил сходни и кинулся обратно, ухватившись за канат. Мы втащили Федоткина на корму, вокруг свистели пули и осколки, и я не знал, как поступить: ругать его или обнимать...

Громада крейсера нависла над феодосийским портом, над городом, и никакая сила не могла уже приостановить выполнение боевой задачи... С широким сходней «Красного Кавказа» десантные части рванулись на берег, на улицы города. Вслед за ними выгружались боеприпасы и машины. Крейсер продолжает бой, выводит из строя орудия и танки немцев, обращает в прах их укрепления, помогает продвижению десанта. Враги усиливают и без того плотный огонь по неподвижному, но грозному кораблю. Под огнем фок-мачта, боевая рубка. Вспыхивает порох у зенитной установки, горит палуба. Раненые зенитчики бесстрашно гасят огонь. Снаряды пробивают борт в нескольких местах, пробойны быстро закрываются пробковыми матрацами... Орудия крейсера не прекращают огня по врагу. Но вот замолкла вторая, бывшая Агарковская башня: фашистский снаряд взорвался внутри нее, были убитые и раненые, и огонь угрожал порохом зарядам. Страшная угроза нависла над кораблем!...

...Когда комендор Василий Покутный пришел в себя после взрыва в башне, первое, что он увидел в дыму, в полумраке — это горящий

верхний заряд с порохом. Если он разгорится и пламя охватит всю взрывчатку в зарядном погребе — крейсер взлетит на воздух... Собрав последние силы, комендор сдвинул в сторону пылающий пакет и лег на него. Несколько секунд спустя в башню проникли электрик Павел Пилипко и комендор Петр Пушкарев. Рискаю жизнью, они успели убрать из башни горящий запал. Быстро собрали новый расчет, и вторая башня снова повела огонь по врагу.

— Весь крейсер тогда вздохнул с облегчением, а я был особенно горд за свою башню, — говорит Константин Иванович. — Но сердце жгло болью — погибли товарищи... Покутному было тогда лет двадцать с небольшим. Когда мы сдавали его на берег в Туапсе, не знали, выживет ли: он был в тяжелейшем состоянии. Но Василий Матвеевич выжил, весь израненный, обгоревший. Сейчас он хотя на инвалидности числится, но работает по мере сил...

...Серое зимнее утро осветило пристань и город, где вели бои десантники. Поврежденный «Красный Кавказ» получил команду сниматься с якоря. На рейде Феодосии поддерживать наступление десанта оставался крейсер «Красный Крым».

— Думаете, мы сразу вышли из боя? Нет! — говорит Агарков. — Крейсер отошел от пристани и продолжал вести бой, маневрируя недалеко от берега. Еще целый день его орудия били по фашистским батареям. Несколько раз крейсер с нарушенным управлением сам выходил из-под обстрела, но тут же вновь возвращался, разворачивал свои башни, открывал сокрушительный огонь по врагу. В новогоднюю ночь 1942 года крейсер пришел в Новороссийск, с едва заткнутыми пробоинами и тяжелыми следами пожаров. Необходим был срочный ремонт. Но весь израненный «Красный Кавказ» получает новое срочное задание: он должен вернуться в Феодосию и доставить туда зенитные дивизионы для охраны порта освобожденного города. Других кораблей в распоряжении командования не было. И снова «Железный старпом» размещает на крейсере 1200 бойцов и орудия. Снова в морозную ночь корабль уходит в море... В зимний шторм весь обледенелый и поврежденный крейсер прибыл в притихшую после боев Феодосию, с огромным трудом разгрузился и готов был уже двинуться в обратный путь. Но здесь его ждало самое тяжелое испытание.

Внезапно налетели пикирующие бомбардировщики. Зенитные пушки и пулеметы крейсера открыли по ним огонь. Два самолета загорелись, но бомбы летят и летят: неподвижный крейсер — отличная цель.

Вот одна бомба взорвалась у кормы. Корабль валится на бок, ломаются механизмы, ка-

тятся пушки, гаснет свет... Еще взрыв! Вода прорывается к дизелям, во многие отсеки корабля. Но уцелевшие пушки все ведут и ведут огонь по пикировщикам. Оглушенный, почти тонущий «Красный Кавказ» ни на минуту не прекращает бой. Вспыхивает еще один пикировщик. Самолеты врага улетают. Крейсер выходит в море.

— Никогда не забыть того, что видели мы тогда с мостика, — глухо проговорил Агарков. — Корма крейсера опускалась, вода заливала корабль. Все возможные и невозможные аварийные средства были пущены в ход...

И тут снова послышалось: «Воздух!» На тонущий крейсер снова налетели бомбардировщики. Зенитки открыли по ним огонь, но бомбы падали одна за другой... Оторвало винт, заглохла одна из турбин, вода проникла всюду... Пикировщики, отбомбившись, ушли и теперь все свое мужество и мастерство команда переключила на борьбу с водой, на спасение крейсера. Команды передаются по цепочке, смертельная опасность ежеминутно рождает героев.

— Мы узнавали о их подвигах не сразу, — говорит Агарков. — О том, например, как электрик Алексеев телом своим перекрывал струю ледяной воды, ограждая от нее приборы... Или о том, как краснофлотец Колосов погиб в воде, не выпуская из рук телефонной трубки...

Море уже заливало каюту командира корабля, но тонущий крейсер шел вперед и вперед, движимый несгибаемой волей героев. И седые черноморские волны поднимались за его кормой почётным эскортом...

Адмирал Корнилов, матрос Кошка и краснофлотец с «Красного Кавказа»

Черноморская легенда

«...И уже подходят немцы к самой вершине Малахова кургана. Вдруг в тот миг зашевелился Корнилов на своем пьедестале. Опустил руку, обеими переперя в камень, ноги вниз опустил и слез к матросу Кошке. Берет его под руку, значит, и говорит: «Пора, Петр! Наше время пришло. Уходить надо! Мы с тобой старые севастопольцы. Постояли за Родину в свой час честно, до конца, и народ нас за то почтил. Мы и честному врагу с тобой не сдавались, матрос, а чтоб нас фашисты в плен взяли — этому позору не бывать! Уйдем, Кошка!» Кошка, понятно, руку под козырек и отвечает: «Правильно говорите, товарищ адмирал!»

...Сошли они на землю вдвоем — адмирал с матросом. Огляделись вокруг, и опять Корнилов говорит: «Пройдем по кургану, пока есть еще время. Посмотрим да послушаем, не бьется ли еще где жаркое краснофлотское сердце. Хорошо дрались наши внуки, дедовской чести не посрамили, себя перед народом оправдали не хуже нас. И народ им спасибо скажет. А ежели есть тут между ними кто-нибудь живой, то никак не можем мы своего внука немцу на муки оставить. Мы с тобой моряки и живем по морскому нашему закону: «Все за одного, один за всех». И должны живого спасти»...

Анатолий Федорович Авдеев прервал чтение и поверх очков оглядел своих слушателей. На вершине Малахова кургана у пьедестала памятника героям первой Севастопольской обороны — адмиралу Корнилову и матросу Кошке — разместились пионеры Авдеевского класса, — разнесший отряд имени «Красного Кавказа». Собственно, памятника не было, его взорвали фашисты. Сохранился лишь пьедестал и выложенный на земле крест из ядер — на месте, где смертельно ранили адмирала. Невдалеке горел вечный огонь славы, осеняя негасимым светом исторические реликвии и два современных корабельных орудия. Эти пушки главного калибра, снятые с подбитого в боях за Севастополь в сорок втором году эсминца «Совершенный», стали на земле знаменитой батареей капитан-лейтенанта Алексея Матюхина. До последнего вздоха сражались на Малаховом кургане краснофлотцы и красноармейцы...

У Вечного огня славы дают военную присягу молодые черноморцы. Сегодня здесь — торжественный сбор пионерского отряда имени «Красного Кавказа». Авдеев читает ребятам «Черноморскую легенду» Лавренева. Непередаваемо звучит она на Малаховом кургане, стучится, глубоко западает в юные сердца.

«...И пошли они тихонько по кургану (адмирал Корнилов и матрос Кошка). Подойдут к кому, наклонятся, послушают, вздохнут и дальше идут, а на вершине тихо-тихо стало. Видно, немец, наконец, сообразил, что никого уже не осталось на вершине, и стрелять перестал.

Так вот идут они медленно по гребню кургана, и нет кругом них жизни. Только вдруг слышит Корнилов — будто дыхание. Подошел — видит, раскинулся парень. С собой красивый, молодой, глаза закрытые, волосы от крови слиплись, а на голове бескозырка, и на ленточке — «Красный Кавказ». И широкая грудь его под тельняшкой чуть заметно колыхается.

«Смотри, Петр, — говорит Корнилов, — живой! Да красавец какой! Возьмем его, Петр, ук-

роем от немца». И подняли они того комендора с «Красного Кавказа», неизвестного по имени, взяли с обеих сторон под руки и повели. И прошли сквозь немецкие цепи севастопольский адмирал Корнилов, матрос Петр Кошка и краснофлотец, прошли невидимками. Спустились с кургана, перешли балку и тихим шагом дошли до Инкермана.

А там поднялись по каменной лестнице до самой высокой пещеры в скале, вошли в нее, и как вошли, то опустилась за ними каменная глыба и накрепко прикрыла вход от врага.

И остались они там ждать того часа, как придут наши опять в свой Севастополь. В тот самый миг, как войдут на Северный рейд дорогие наши корабли и забьется на них по ветру наш боевой морской флаг, подымется тот тяжкий камень, откроет вход, и пойдут назад тем самым путем Корнилов, Кошка и наш браток-краснофлотец.

Взойдут на Малахов курган и встанут на свой гранит, все трое, рядом, рука об руку, два деда и внук, чтобы навечно хранить от врага наш Севастополь...»

Долго молчат ребята. Тишина на Малаховом кургане. А далеко внизу, в бухте, стоят новые боевые корабли Черноморского флота. Над морем звенят склянки, отбивающие время.

Самое памятное

Сбор отряда завершился приемом в пионеры. У Вечного огня славы ребята дают торжественное обещание. Красные галстуки надевает почетный гость сбора гвардии капитан первого ранга в отставке ветеран «Красного Кавказа» Константин Иванович Агарков.

В полной морской форме, со всеми регалиями, орденами и медалями на груди — вот он, «Железный старпом», нестареющий, подтянутый... Наверное, выражение «быть в форме» отсюда и идет: военная форма преобразует человека любого возраста.

Агарков, видимо, рад тому, что ребята в новых ярких галстуках взяли его в кольцо, не отпускают. Все располагает к беседе. И она течет и растекается все шире. Но о чем бы ни шла речь, снова и снова клонится разговор к «Красному Кавказу».

Константин Иванович смотрит на ребят. Их глаза ждут. Что более всего памятно?.. Что важнее всего помнить ребятам? Если выбирать, то, наверное, самое волнующее, самое памятное — неожиданный финал трагического перехода полузатонувшего крейсера от берегов Крыма на Кавказ. Своим ходом (и это тоже было чудом!) корабль пришел в Туапсе. Ремонт определили в

Поти. Там стояла эскадра. Но без винтов, со многими пробоинами крейсер туда двигаться уже не мог. И гордый «Красный Кавказ» повели на буксире... Когда втягивались в Потийскую гавань, вдруг слышались крики «ура», звуки музыки, взмыли ввысь флаги расцвечивания. Вся эскадра приветствовала героев «Красного Кавказа».

А разве можно забыть час, когда пришла на корабль весть о присвоении экипажу гвардейского звания. «Красный Кавказ» стал первым гвардейским крейсером Военно-Морского Флота!..

По своей старпомовской морской привычке Константин Иванович не мог долго сидеть на одном месте. Он встал, и вместе с ним поднялись пионеры. Ветер с моря теребил их новые красные галстуки.

— А знаете, ребята, наверное, самое волнующее все же случилось уже после войны. Прошло время, кончил свою боевую жизнь наш крейсер, не стало «Красного Кавказа». Многие из нас вышли в отставку, в запас. Мы все тут как бы осиротели... И вдруг узнаем: спущен на воду «Красный Кавказ» — новейший противолодочный

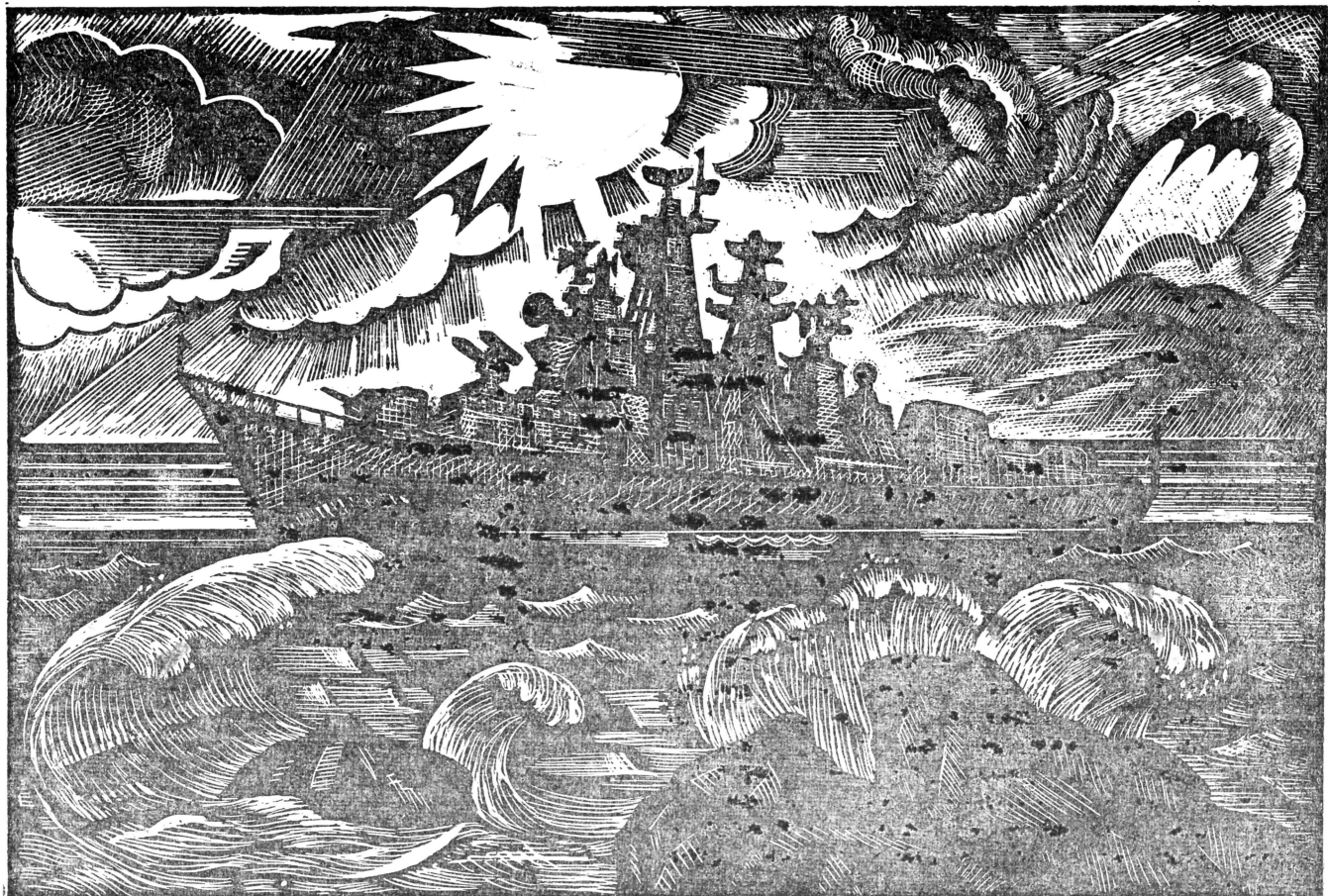
корабль! Нарекли его именем нашего крейсера, с передачей гвардейского звания. Помолодели в этот день ветераны! — улыбается Агарков.

Сказка

Увидеть военный корабль — большая радость для мальчика, живущего на Урале. Он долго и неотрывно рассматривает его, стараясь запомнить характерный силуэт крейсера или эсминца. А как описать его радость, когда узнал он, что сможет увидеть сразу много кораблей!.. Мы будем на празднике Дня Военно-Морского Флота! Ура!..

— Если хотите все хорошо видеть, приходите пораньше на Приморский бульвар. Устройтесь повыше, чтобы вся бухта была перед глазами, — напутствовал нас накануне Анатолий Федорович. Валерик готов был идти к морю с ночи.

И вот мы на бульваре. Народу уже много, все жмутся к берегу, но мы, по совету Авдева, поднимаемся выше. Перед нами чистая гладь бухты, строй кораблей. Только в кино до-



водилось моему внуку видеть такое!.. Фантастическими кажутся очертания ракетных, противолодочных кораблей, лопасти гигантских антенн на высоких стройных опорах. Как черные космические ракеты застыли подводные лодки, возможно, пришедшие сюда из сказочно-дальних странствий. Грандиозны десантные суда. И среди них множество небольших изящных кораблей и корабликов разного назначения... Всюду красочные флаги и неподвижный парадный строй моряков на верхних палубах.

Легкий бриз доносит далекие раскаты «Ура!» Гул приветствий нарастает. Со стороны Графской пристани стремительно мчится катер под флагом командующего флотом, который принимает морской парад.

— Дедушка, это же сказка! — внук не сводит глаз с бухты. А там действительно творится чудо из чудес.

К причалу приплывает стая больших разноцветных рыб. Это — замаскированные лодки. На флагманской — бог морей Нептун. Звучит резкий сигнал, Нептун вызывает из глубины моря тридцать три богатыря. Из волн выходит отряд десантников в шлемах, в полном вооружении, с развернутым знаменем, с автоматами. Богатыри дают залп, и море вновь поглощает их.

Но сказка не кончилась.

Всплывает на поверхность огромная подводная лодка. С северной стороны низко над морем несется к ней красно-белый вертолет, он опускает непромокаемый пакет, боевое задание. Его подхватывают на мостике лодки, и она мгновенно исчезает в волнах. Грозно надвигается могучий противолодочный корабль, стремительны его обводы, изящен и могуч корпус. Зашевелились округлые лопасти вездесущих антенн, ощетинились пусковые установки...

— Может быть, это наш новый «Красный Кавказ»? — тихо проговорил Валера, не отрывая глаз от корабля.

— Наверное, «Красный Кавказ» такой же, но наш-то сейчас в дальнем плавании.

С просторной палубы корабля с характерным рокотом размашистых пропеллеров взмывают поисковые вертолеты, ястребами устремляются за подводной лодкой. Вот они обнаруживают ее, спускают на воду опознавательные приборы, бросают первые бомбы. Вихрем преследуют лодку противолодочные катера, рвутся одна за другой глубинные бомбы. «Противник» обречен.

Морской «бой» нарастает. В бурунах пены на скоростях идут крейсера, противолодочные корабли, вертолеты садятся и взлетают, сверкая в лучах солнца. Их обгоняют военные катера. Голубое небо закрывают эскадрильи самолетов, и море вдруг расцветает яркими куполами парашютистов.

— «Красный Кавказ»?
— «Красный Кавказ»!

Вместо эпилога

Классное сочинение Валеры «Как я провел лето» было признано одним из лучших. Он писал его, а перед глазами было ярко-синее море, военные суда, праздник флота... Даже жаль было расставаться с тетрадкой, когда прозвенел звонок, возвестивший о конце урока.

Валера продолжал неотступно думать о море. Он считал месяцы до новой встречи с ним.

Так проходило время, и вот в один прекрасный день Валерик ворвался ко мне в пальто и ушанке, запорошенный снегом, и, сбрасывая валенки у дверей, тревожно и радостно закричал:

— Письмо с юга!..

Письмо было от Авдеева.

«Деду и внуку привет с «Красного Кавказа»! А пишу это письмо в кают-компании нашего воскресшего, молодого «Красного Кавказа», под старым гвардейским флагом. Когда катер пришвартовался к трапу, я долго не в силах был подняться, все смотрел и смотрел на буквы: «Крас-ный Кав-каз»!.. Ступил на палубу, огляделся вокруг — сила! Конечно, орудийные башни впечатляли, но тут все другой мерой меряется. «Красный Кавказ» — не просто корабль, а Большой противолодочный корабль — врага он может настигнуть и у наших берегов, и в дальних морях, и океанах. Неплохо!..

Все это больше для внука написал. Такого он еще не видел. Чудо-корабль! Сказка, фантастика.

Ну а приехали мы сюда не на экскурсию, а по государственному делу. Ветеранов «Красного Кавказа» пригласили на корабль вручать молодым матросам гвардейские ленточки. А что если довелось бы мне вот так же вручать и Валерику знак «Гвардия» и ленточку на палубе нашего «Красного Кавказа»!

Валерик долго читал это письмо. Наверное, мы оба видели в этот час, как прекрасный и могучий корабль под старым гвардейским флагом гордо ходит по морям и океанам и волны всех широт слагают о нем песни.

— «Красный Кавказ»?

— «Красный Кавказ»!



ПО БЛОКОВСКИМ МЕСТАМ

Картины

Владимира Мамонтова.



Дорога к Блоку

*...Что ж конец?
Нет... еще леса, поляны
И проселки и шоссе,
Наша русская дорога,
Наши русские туманы,
Наши шелесты в овсе...*

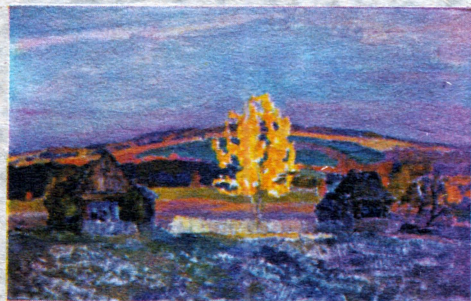
14 мая 1914 г.

*Огнекрасные отсветы ярче
На суровом моем полотне...
Неотступная дума все жарче
Обнимает, прильнула ко мне...*

31 августа 1914 г.



Шахматово. Аллея в усадьбе



Осень в Шахматово

*Видно, дни золотые пришли.
Все деревья стоят как в силъны.
Ночью холодом веет с земли...*

24 августа 1901 г.



Вечер в Осинках

*Как мимолетна тень осенних ранних дней,
Как хочется сдержать их раннюю тревогу,
И этот желтый лист, упавший на дорогу,
И этот чистый день, исполненный теней.*

5 января 1900 г.



*Сквозь прозрачные волокна
Солнце, света не тая,
Праздно бьет в слепые окна
Опустелого жилья.*

*За нарядные одежды
Осень солнцу отдала
Улетевшие надежды
Вдохновенного тепла.*

29 августа 1902 г.

Ясная осень в Осинках



Август. Маки

*О, весна без конца и без краю —
Без конца и без края мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!*

24 октября 1907 г.

ОТКРОЕШЬ ЧУДО

*Я верен голосу природы,
Будь верен мне!*

Александр БЛОК

**Евгений
АЛЕКСЕЕВ**

Соберись и поезжай к Блоку...
Ты увидишь родину поэта — заповедную блоковскую Русь!

Там — *зубчатые леса, море клевера* с бесконечными *сказками пчел*. Там — *вечереющая даль, неясный путь в неозаренные туманы*. Там почувствуешь ты особый дух поэзии: *он окрылит и унесет, и озарит, и отуманит...*

Соберись и поезжай к Блоку. Как ездит свердловский живописец Владимир Мамонтов. В дорогу он берет краски, кисти, этюдник. Да еще любовь к природе, к поэзии.

В негородской тишине синеют, голубеют — и растворяются дали. За равнинными лугами, за желтыми лесистыми холмами прячется Шахматово, в котором провел детство и юность, *годы золотые*, куда всю жизнь возвращался Блок. К нему ведет проселочная дорога, проторенная колесами еще дедовских пролеток.

Здесь и установил живописец свой этюдник. Живые мазки засветились по всему полотну. Ритмично выстроились группы деревьев, призывно синеют дали. Многоцветье красок слилось в распевную мелодию, несущую в себе затаенное, несказанное признание в любви к родной земле.

В Шахматове художник увидел знакомый по стихам серебристый тополь, посаженный в юности поэтом. Дерево-памятник...

И пейзаж «Осень в Шахматове» расцветает красками русского сентября. Чувство сопричастности, словно чувство живой встречи с поэтом, движет кистью живописца.

Волнуют Мамонтова тропки-дорожки, бегущие к Осинкам, Тараканову, Боблову, Рунову. Еще бы! Здесь был поэт, он видел это. Вместе с дедом, знаменитым ботаником А. Н. Бекетовым, он гулял по окрестностям Шахматова. Внук слушал и смотрел: и росло в отроке свое поэтическое, блоковское ощущение природы.

Писать блоковские места — значит, в живописи высказать то, что поэт рисует словом. А может быть, то, что возникает в сердце художника наедине с природой.

Живописец тоже поэт. Только пишет он кистью. И вот мрак закрывает небо, поглощает луну, волоком стелется по травам. Белая основа картона едва просвечивает. Кажется,

свет порывается к свободе, но душат его краски мглы и тумана.

Блок ли это? Видел ли он такие сумерки, переживал ли смутное бorenье чувств? Видел и переживал. Его поэзия тому свидетельство живое.

Проникновенно передает Мамонтов мотивы, эмоциональный строй, красочную силу блоковской природы. Впечатления черпает в том же источнике, что и поэт. Привносит, естественно, и свои жизненные, художнические представления. Из верности действительности и самому себе возникает хорошая верность Блоку и современный строй художественного образа.

Не иллюстрации делает Мамонтов. Открывая Блока, он как-то поновому раскрывает свои творческие возможности, находит более точные художественные средства живо, непосредственно изображать природу. Высветляется, свежее палитра. Удается чудо превращения сырой краски в живописную плоть земли, дерева, травы. Неприметными становятся композиционные хитрости, продуманность картинного решения не заслоняет непосредственности восприятия. Правда выражения мысли, идеи соединяются с открытым проявлением собственного настроения.

В пейзажах «Ясная осень в Осинках», «Август. Маки» цвет прямо выражает чувство, композиция активно выявляет главную выразительную деталь. Идея щедрости, красоты земли, ради которой написаны пейзажи, звучит ясно и свежо.

Пейзажи Мамонтова волнуют чем-то родным, знакомым и... словно встреченным впервые. И это естественно — природу мы знаем и любим, знаем и любим поэзию Блока. Но ведь на полотне не природа, а ее образ, вылепленный кистью живописца. Он-то и содержит нечто новое, до этого неведомое, идущее от художника.

*Репродукции
см. на вкладке*



КОЛИЧЕСТВО КАЧЕСТВА

**Виталий
ТХОРЖЕВСКИЙ**

*Рисунки
А. Лебедева*



**УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
ПИШЕТ ВАМ ПОСТОЯННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ «УРАЛЬСКОГО СЛЕДО-
ПЫТА». РАБОТАЮ Я СЛЕСАРЕМ НА СВЕРДЛОВСКОМ ЗАВОДЕ
ИМ. ВОРОШИЛОВА. ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА СТРАНИЦАХ
ЖУРНАЛА, ЧТО ТАКОЕ КВАЛИМЕТРИЯ? Я ЗНАЮ, ЧТО ЭТО
НАУКА О КАЧЕСТВЕ. НО В ЧЕМ ЕЕ СУТЬ?**

Л. ГАШЕВ



В наше время ремесленное изготовление предметов становится исключением. Детали, которые выпускают машины, почти неразличимы. Они не сделаны «под настроение», в них отсутствуют те «чуть-чуть», которые создают непередаваемую индивидуальность продуктов ручного труда.

Качество промышленных изделий постоянно контролируется всем хорошо известной службой ОТК, которая следит, чтобы они имели определенные характеристики. Однако в ряде случаев возникают, казалось бы, парадоксальные ситуации — все отдельные узлы и детали сделаны точно в соответствии с нормативами, а изделие оказалось к эксплуатации малопригодным. И в этом нет ничего удивительного. При сборке целого возникает диалектически новое качество, отличное от исходных материалов. Поэтому нередко случается, что предприятие приобрело два прибора серийного выпуска. При одинаковых условиях эксплуатации оказалось, что один прибор проработал в течение нескольких лет, а другой всего полгода. Как хорошо было бы заранее определить надежность, а еще лучше — научиться управлять качеством машин, аппаратов, приборов и уметь прогнозировать его. Для осуществления этих задач в нашей стране впервые в мире было создано новое направление в науке — квалиметрия, то есть наука о качестве.

Как любая другая дисциплина, квалиметрия имеет свои методы. Одними из них являются ускоренные испытания. Из партии серийных изделий путем случайного выбора берутся отдельные экземпляры и

подвергаются самым суровым испытаниям. Вспомним авторалли. Их устроители специально выбирают такие маршруты, которые и не снятся любвеобильным владельцам машин. Делается это для того, чтобы утвердить качество машин, так сказать, от противного. Если автомобиль выдерживает бешеную гонку по пересеченной местности, то уж тем более долго и надежно он будет служить на обычных асфальтированных дорогах.

В некоторых случаях испытания становятся еще более жестокими. Вот как их описывает американский писатель Курт Воннегут в своем романе «Завтрак для чемпионов»: «...самое большое впечатление на него произвел ряд лабораторий, где уничтожались части машин и даже целые автомобили. Научные сотрудники фирмы «Понтиак» поджигали обивку, швыряли камнями в ветровые стекла, ломали передачи и рычаги управления, устраивали столкновения двух машин, вырывали с корнем переключение скоростей, несколько дней подряд запускали моторы на полный ход почти без всякой смазки, сто раз в минуту открывали и захлопывали отделения для бумаг и перчаток, охлаждали часы на панели до нескольких градусов ниже нуля и так далее».

Чтобы измерить уровень качества, его необходимо перевести в ряд количественных показателей, используя специальные коэффициенты. Например, оценивая опытный экземпляр какого-нибудь прибора или станка, для расчета берут не абсолютные его свойства, а сравнивают их с уже существующими моделями. Новинка получает высокую оцен-



ку, если она превосходит своего предшественника в скорости измерения, точности, надежности, удобстве в работе.

При измерении уровня качества в квалиметрии существуют как бы два противоположных подхода. С одной стороны, предпочтение отдается точным количественным измерениям. Но это возможно не во всех случаях. Поэтому проводится оценка «на глаз». И это совсем не плохо. Глаз — совершенный инструмент природы, тесно связанный с мощным «вычислительным центром» мозга. А он до сих пор несомненно превосходит любые виды быстродействующих ЭВМ. Например, стоит на конверте письма чуть неточно написать цифры индекса, и перептрон их не прочтет, в то время как это не задача даже для первоклашки.

При оценке «на глаз» обычно подсознательно вырабатывается интуитивное решение: формула, скорее всего, неверна, потому что она некрасива. И, как ни странно, в устах опытного человека такая приблизительная оценка оказывается справедливой.

Однако, не преуменьшая роли интуиции, мы должны помнить, что в некоторых случаях качество продукции должно быть рассчитано с максимальной точностью. Например, создан новый авиалайнер. «Мне кажется, что он должен полететь», — так главный конструктор не скажет. Он на основании точнейших расчетов знает не только, с какой скоростью полетит самолет, но и то, что в новой модели устранен какой-либо риск для жизни летчиков.

Для того, чтобы эффективно следить за качеством, необходима постоянная обратная связь между производителями и потребителями. Пока эта связь несколько односторонняя. Рекламации, поступающие на заводы, сигнализируют об опреде-

ленных недостатках качества. Таким образом, сама жизнь является как бы тщательным и бескомпромиссным ОТК.

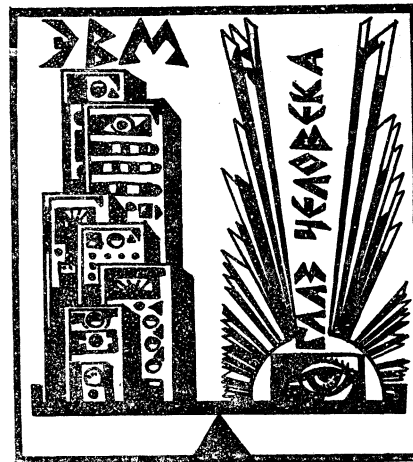
Однако организаторам производства интересно знать не только, «что такое плохо», но и «что такое хорошо». С этой целью широко практикуется вложение в упаковку изделий опросных анкет, из которых можно узнать не только о дефектах изделия, но и о сроке его службы, удобстве в эксплуатации, а также выснить пожелания об изменении конструкции. Такие коррективы совершенно необходимы для современного производства, поскольку конечной целью доведения качества продукции является максимальное удовлетворение потребителей, будь то покупатель электробритвы или импортер шагающих экскаваторов.

И все-таки контроль качества потребителями происходит всегда «пост фактум», а исправление допущенных недостатков обходится производству в копейку. Так, английский специалист А. Робертсон в книге «Управление качеством» пишет о том, что расходы при эксплуатации ненадежного оборудования могут в десять и даже сто раз превышать его первоначальную стоимость.

Следовательно, необходимо предвидеть использование готовой продукции и своевременно планировать ее качество. Для одних предметов это сделать легче, для других сложнее. Например, при изготовлении спичек достаточно того, чтобы они хорошо зажигались, а не стреляли в лицо. Зато проверить качество каждой отдельной спички совершенно невозможно, подобно тому, как в магазине нельзя пересчитать количество листов фотобумаги. В подобных случаях испытания проводятся методом случайных выборок. Статистика точно подсказывает, сколько спичечных коробок надо выбрать из партии, чтобы получить представление о ее качестве.

Сложнее дело обстоит с многокомпонентной продукцией, состоящей из сотен, а иногда и из тысяч отдельных узлов и деталей. В этом случае стараются выявить самый слабый узел, самую ненадежную подсистему, поскольку по ним будет определяться предел безотказной работы. Проще сказать, где тонко, там и рвется. Планирование качества в данном случае будет заключаться в доведении «узких мест» до среднего предела надежности системы.

Если быстрый износ какой-либо части системы неизбежен, например, покрышек автомобиля, подшипников ротора центрифуги и тому подобное, то необходимо планировать нужное количество запасных частей, чтобы «толкачи» не метались из города в город в тщетном



поиске. К этому же вопросу тесно примыкает проблема экономического стимулирования качества продукции, о чем остроумно рассказывает в известной миниатюре о «калечестве и качестве» Аркадий Райкин.

То есть одной из главных задач квалиметрии является управление качеством и его прогнозирование. Вот как определяет эту задачу уже известный нам А. Робертсон: «Управление качеством отличается от контроля, который в основном сводится к практике отделения хороших изделий от плохих, будь то 100%-ный или выборочный контроль. Качество продукта после того, как завершен процесс производства, не может быть изменено в результате контроля, так же как качество и надежность продукции не могут быть повышены лишь за счет выбраковки некачественных изделий. Управление качеством имеет дело со всей системой производства и всеми методами, которые используются для установления стандартов и обеспечения их соблюдения. Это — система управления, при которой разработка проекта, заключение контракта, деятельность потребителя и поставщика, производственное и технологическое оборудование, технологические процессы, части, детали, узлы, контроль и испытания находятся под активным наблюдением». Задачей этого наблюдения является своевременное установление причин нарушения качества и их устранение по ходу дела.

Планирование качества является весьма и весьма актуальной задачей, но она будет решена, если мы твердо знаем, что надо планировать. Следовательно, для квалиметрии необходимы ориентиры, на которые она могла бы нацеливать качество еще несуществующих продуктов. Таким ориентиром может служить эталон — идеал. Например, мы можем вообразить электролампочку, кото-



рая никогда не перегорает. После этого мы легко установим, что спираль из ретения окажется к идеалу значительно ближе, чем извольфрама. Но к тому же идеальная лампочка дает максимальное освещение при минимальном расходе энергии. Здесь лучшее приближение к ней дают лампы дневного света. К тому же «лампочка моей мечты» никогда не бьется, потому что изготовлена из небьющегося стекла и т. д. и т. п.

Подобный потолок идеальных качеств может быть подобран для любого предмета. Вполне понятно, что реальное производство может бесконечно приближаться к нему, никогда его не достигая. Соотношение идеального и реального качества может иметь вполне конкретное числовое выражение.

Впрочем, мы забегаем вперед. Пока что квалиметрия используется вполне «земными» эталонами, а в качестве количественных оценок используют баллы и коэффициенты весомости. Используя их, определяют показатели унификации, патентоспособности, грузоподъемности и т. д. и т. п., которые вносятся в карту технического уровня изделия. Иногда для этого собирают экспертные комиссии, которые выставляют новому изделию, совсем как на соревнованиях по художественной гимнастике или фигурному катанию, баллы оценки.

Требования к качеству продукции год от года бурно растут. Когда-то было нормальным месяц добираться с Урала в Москву, а теперь некоторые ворчат, что поезд «тащится» больше суток, ведь самолетом можно долететь за пару часов. Следовательно, менее чем за столетие мы намного приблизились к идеалу — скорости звука. И так во всем.

До сих пор наша промышленность выпускала продукцию трех сортов. Спрашивается, кто должен покупать товары третьего сорта? На это ответила квалиметрия. Согласно ГОСТу 17102—71 продукция должна выпускаться только высшая со знаком качества и первого сорта. Повсеместно продукцию второго сорта с производства снимают. Наши люди должны пользоваться только первоклассными вещами.

Квалиметрия разработана и применяется для промышленных изделий. Но ведь и весь остальной мир предстает перед нами в виде массы различных качественных состояний природы. Под рубрику качества может быть отнесено и состояние здоровья человека, и формы социальных организаций, и экологическое равновесие в природе. Если мы расширим рамки новорожденной науки, то она приобретет универсальный характер, напоминая кибернетику.

Но при этом в квалиметрии возникают трудности принципиально неустранимые. Если новые технические методы позволяют нам для определения уровня качества использовать электронные микроскопы, лазеры, вычислительную технику, то это равным счетом ничего не дает, например, для оценки произведений искусства. Остается принятый в квалиметрии метод экспертной оценки качества. Тем не менее, какими бы опытными ни были эксперты, они все равно разделяют все традиции и заблуждения своего времени. Объективность коллективной оценки можно поставить под сомнение хотя бы таким примером. Если бы мы предложили оценить искусствоведам конца прошлого столетия и нашим современникам картину, скажем, Ван Гога, то получили бы «объективные» оценки, которые сочетаются «как лед и пламень».

И все-таки, несмотря на это противоречие, мы только весьма условно считаем картины знаменитых художников бесценными. На самом деле каждая из них оценена экспертами вплоть до рубля. С точки зрения себестоимости картина Ван Гога стоит всего несколько рублей: стоимость холста, кистей, красок, подрамника. Ее стоимость для общества оценивается сотнями тысяч рублей. Откуда возникла эта грандиозная сумма? Ее создала гениальность художника, который научил нас видеть еще один мир прекрасного.

В повседневной жизни редко приходится иметь дело с предметами, которые вызывают не только ожесточенные споры современников, но и наводят на размышления о критерии времени. Нас обычно чаще интересует, как оценить качество так называемого ширпотреба. Но и здесь мы тоже столкнемся с парадоксами. Возьмем, к примеру, фактор моды. Стоимость одной и той же женской шляпки в разное время колеблется десятки раз. Не случайно швейные фирмы на Западе большую часть капиталовложений тратят не на изготовление продукции, а на рекламу.

Поэтому следует помнить, что философским базисом квалиметрии является замена кантовской «вещи в себе» на «вещь для нас!» Действительно, если исходить из позиции принципиальной непознаваемости мира и его отдельных частей, то невозможно определить и качества предметов. Идеалисты вообще считают, что понятия о качестве — всего лишь наши ощущения. Например, они говорят о том, что объективно в природе не существует зеленого цвета, а есть лишь определенная длина световой волны, которая нами воспринимается как зеленая. Точно также вне человека не существует «сладкость» сахара, запах розы

и т. д. Однако при этом они упускают из поля своего внимания, что наши чувства возбуждаются в мозгу вполне материальными объектами.

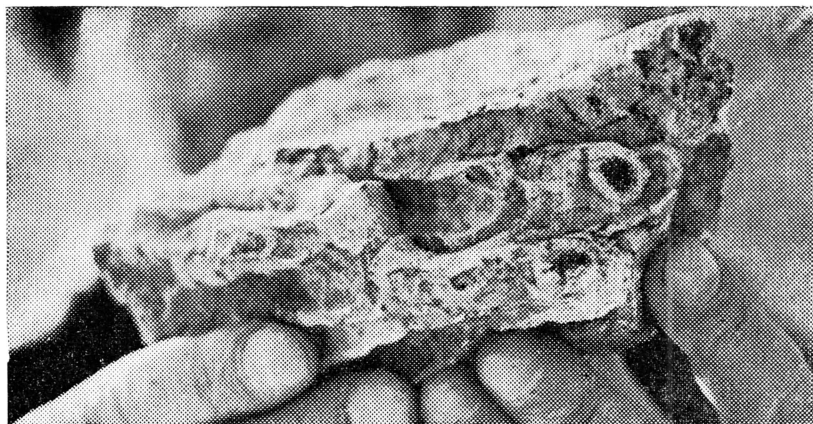
Конечно, мы не знаем, да и не можем знать всех абсолютных свойств предмета, но для нас важно составить представление, что мы будем иметь при его использовании. Человек, покупающий телевизор, менее всего интересуется его схемой и принципом работы отдельных элементов; ему важно, чтобы было хорошее изображение и звук. Иными словами, определение качества всегда происходит целенаправленно. Основной вопрос при этом: для чего эта вещь предназначается. Если катафалк уместен на кладбище, то никто его не увидит на гонках. И так во всем.

Подводя итог, скажем: квалиметрия олицетворяет собой процесс, который приводит во все возрастающих масштабах к улучшению нашей жизни: широкие зеленые проспекты городов, просторные квартиры с удобной планировкой, рациональная изящная мебель, костюмы из новых тканей, которые не линяют, не мнутся, недорогие и т. д. и т. п. Достаточно бросить беглый взгляд на электровоз и маневровый паровоз, чтобы убедиться, как стремительно нарастает качество и надежность окружающих нас предметов.

В десятой пятилетке особое внимание будет уделяться качеству промышленной продукции. Важную роль в этом сыграет новая наука — квалиметрия.



Цемент Алтайского океана



...Какого-такого Алтайского океана? — спросит читатель. Верно, сейчас такого нет. Но когда-то его грозные валы бушевали на месте сегодняшних гор и степей. А что он в ту пору не именовался Алтайским, так и назвать-то его было некому. Дело-то происходило — ого! — несколько сот миллионов лет назад.

На Алтае в те времена были настоящие тропики. Молодое, буйное в своей термоядерной ярости солнце вызывало к жизни тысячи новых форм. В древнем океане деятельно трудились на стройке первых рифов и островов изящные четырехлучевые кораллы.

Шли миллионы лет. Коралловые рифы и острова опускались, поднимались, снова опускались — юную планету трясали многочисленные землетрясения. Так известняки из коралловых отложений залегли, в конце концов, под толщей других пород.

...Победитовые резцы легко вгрызлись в древний риф. Поднятый на поверхность керн, розовый, как утренняя заря, от крупных трубочек кораллов, и был зарей первого на Алтае промышленного месторождения для производства цемента.

Не стоит много говорить о важности цемента. Всюду — стройки, повсюду он нужен. И Неверовское месторождение сулит, наконец-то, его изобилие для гигантской строительной площадки, которой стал сейчас Алтай.

На снимке: вот он цементный камень из кораллов «Алтайского океана».

Г. ОСИПОВ.

Фото Е. Шлея

По стальным волнам

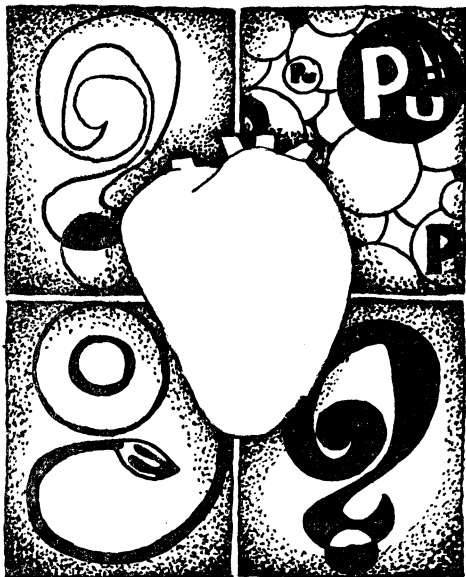
В добыче руды горняку помогают бурильные машины, электровозы и другая техника. Но есть в шахте работа, где надо брать в руки обыкновенный лом. Чтобы столкнуть куски руды в вагонетки.

Специалисты Института горного дела Сибирского отделения АН СССР придумали необычный механизм — виброленту. По этой гибкой стальной полосе безостановочно бегут волны и увлекают куски руды. Так «ожившая» лента заменила дедовский лом. И теперь лишь на рудниках цветной металлургии уже работает восемьсот вибрационных установок. Они высокопроизводительны и делают труд горняков безопасным.



Теплая вода... не пьется

Грузинские исследователи проследили, как много выпивают воды крысы, если изменять ее температуру. Опыты показали, что холодная и горячая вода быстрее всего утоляла жажду. Что ж, наш житейский опыт говорит о том же.



Плутоний для сердца

Ныне немало людей живут благодаря электрическим стимуляторам сердца. Разряд тока побуждает сердечную мышцу к сокращению. Одно неудобство: человек с кардиостимулятором не должен забывать подзаряжаться электроэнергией. А что, если под рукой не окажется вовремя электричества?!

Английские ученые предложили «Ядерный источник питания на основе Плутония-238, для вживляемого кардиостимулятора», в котором происходит прямое превращение тепловой энергии в электрическую. Вес приборчика 35 граммов, радиоактивного плутония — всего 140 мг, но этого достаточно, чтобы большой десяти лет был обеспечен энергией.

Вулканы пустыни

Вулкан и пустыня. Понятия вроде бы несовместимые, но ученые Академии наук Казахской ССР доказали, что на месте теперешних пустынь миллионы лет назад возвышались огнедышащие горы и оставили после себя следы — колоссальные магматические массы. Они-то и являются своеобразным компасом для геологов, ведущих поиск месторождений полезных ископаемых, потому что некоторые руды представляют собой продукт вулканической деятельности.



Скорости под землей

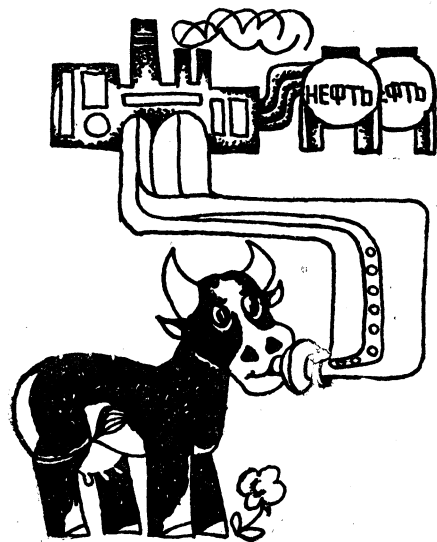
Горняки знают: без восстающих выработок по крутопадающему пласту невозможна полная добыча руды. За год в нашей стране только в горнорудной промышленности проходят более 500 километров таких выработок. Обычно бригада пробивает 25—30 метров в месяц. Значит, с таким объемом работ под силу справиться огромной — в десятки тысяч человек — армии проходчиков.

Специалисты Свердловского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института горного и обогатительного машиностроения создали серию оригинальных комплексов для проходки восстающих выработок. Применение новых агрегатов увеличило скорость проходки в 10—15 раз.

Сплю, но помню

Зарубежные зоопсихологи проделали любопытный эксперимент с хомячками и сусликами. Они предлагали им на выбор двигаться по белому или черному коридору. Известно, что грызуны предпочитают менее освещенный путь. Но в черном коридоре их поджидало неприятное купание в холодной воде. Вскоре у животных выработался условный рефлекс двигаться только по сухому белому коридору.

Ученые решили проверить, у каких грызунов лучше сохранится приобретенный навык: у тех, что будут жить активной жизнью, или у тех, которые впадут в спячку. Оказалось, что животные после спячки лучше помнят урок с купанием.



Корм из нефти

В природе существуют чудесные микроорганизмы, способные превращать в белок несъедобные керосин и парафин. Вот такие микробы и «выпускает» Уфимское опытно-экспериментальное производство белково-витаминных концентратов из нефтяного сырья. Находящийся рядом нефтеперерабатывающий завод снабжает фабрику сырьем — парафином.

Добавка в пищу животных кормовых дрожжей — так еще называется этот продукт — дает возможность получить дополнительно немало мяса, яиц.

Неподалеку от Уфы строится Башкирский биохимический комбинат, продукцией которого будут кормовые дрожжи. Создано производственное объединение «Башпромбелок». В его состав войдет около десятка заводов, научные и проектные организации.

КАМЕНКА

**ЮРИЙ
ДУНАЕВ**

Дорога взбегает на взгорки, и глазу открывается пруд, голубая лента Чусовой с круто взметнувшимся утесом-бойцом на левом берегу, речка Каменка, под прямым углом вливающаяся в Чусовую. На берегах Каменки и раскинулись бревенчатые избы одной из первых русских деревень близ перевала через Камень — так в старину называли Урал.

Каменка — древнейшая уральская деревня. Она была основана во время знаменитого похода Ермака — четыре столетия назад.

Русские люди шли на Урал с государевыми грамотами открывать богатые земли. Особенно повезло Строгановым.

Грамотой царя Ивана Грозного Якову Аникееву Строганову были отданы пустые земли по берегам Чусовой — от устья до верховьев. На триста верст поднялись по реке строгановские казаки и остановились только при впадении в Чусовую речки Каменки. Идти дальше не отважились, опасаясь «многолюдства татарского и вогульского и сибирского владения».

Скалистый западный берег Чусовой, заслонивший собой уютную бухту в устье речки Каменки, был удобным местом для постройки укрепленного пункта. Несколько крепких изб-рубленок, вокруг обнесенных частоколом, представляли собой крепость.

Поселение, «поставленное на усторожливом местечке» по соседству со стойбищем остяков, сделалось одним из основных пунктов колонизации Урала русскими промышленниками.

Четырехвековая история деревни Каменки — это история Урала. Из года в год росло поселение. Лес, пашенные места, сенокосы, бортные уголья и хмельники привлекали вольных людей. В течение двух веков

сюда бежало из центральной России немало крестьян от боярской неволи. Избы из толстых бревен, крепкие ворота, крытые наглухо, по-раскольничьи, двory ставили они в Каменке.

10 февраля 1726 года в деревеньку приехал из Екатеринбурга заводской комиссар Неклюдов с плотинным мастером Чигириным. По указу Сибирского обербергамта они изыскивали удобное место к строению пильной мельницы близ Уткинской пристани. В устье речки Каменки в 20 сажнях от Чусовой исследователи определили место, «где можно построить плотину, ибо то место плотно и к судовому строению лесов довольно». Изыскатели, вернувшись в Екатеринбург, доложили командиру Уральских и Сибирских заводов В. И. Геннину о месте построения пильной мельницы и объявили чертеж. 28 мая 1726 года В. И. Геннин распорядился «на показанном месте на речке Каменке плотину и пильную мельницу строить приписными к заводам крестьянами» с оплатой «за тое работу по платку».

В 1729 году Каменская лесопильня была пущена в действие.

В начале 60-х годов прошлого века Каменка превратилась в одну из крупнейших чусовских верфей и пристаней. В Каменской гавани строились и грузились коломенки. Благо, что вокруг было в избытке строевого леса. Берега гавани и пристань сплошь обставились деревянными магазинами для склада металла — чугуна, железа, меди. Отсюда уральский металл и купеческие товары — хлеб, сало, пушнина — сплавлялись каждую весну вниз по Чусовой в центральные районы России.

Росла деревня. По крутым берегам Каменского пруда разбежались полтора бревенчатых избы, в которых жили каменские бурлаки, опытные лоцманы, водившие за 50 рублей коломенки с металлом по бушующей весенней Чусовой. Отсюда вышло не одно поколение чусовских сплавщиков, получивших за свое мастерство емкое имя — «камешков». Один из них — Савостьян Максимович Кожин — явился главным героем очерка Д. Н. Мамина-Сибиряка «Бойцы». Из каменских бурлаков вышли и Исачка Бубнов и лоцман старик Лупан...

Каждую весну две-три недели деревня Каменка жила кипучей жизнью. Сюда, на сплав, собиралось

четыре тысячи бурлаков из Вятской, Казанской и Уфимской губерний. Как муравейник кипела в весеннюю пору Каменская пристань. С раннего утра до темного вечера над гаванью катилась бурлацкая «Дубинушка».

Шли годы. Со строительством железных дорог на Урале Каменская пристань утратила свое значение. Каменские жители стали заниматься промыслами — выжигать древесный уголь для Билимбаевского, Шайтанского и Уткинского заводов, работать на золотых приисках. С годами приходили в ветхость строения в деревне. Разрушились плотина и гавань, исчезла часовенка, ютившаяся на высоком берегу Чусовой. Покидали насиженные места жители, переселялись ближе к дороге, к заводам...

В 1931 году каменские крестьяне организовались в колхоз «Авангард». Сейчас деревня невелика. До двух десятков домов насчитывается в широкой долине. Вокруг раскинулись сельскохозяйственные угодья Уткинского совхоза. На стрелке между Каменкой и Чусовой стоит один из корпусов базы отдыха Первоуральского треста «Уралтяжтрубстрой» — двухэтажное здание с верандой. Это единственный сохранившийся от прежних времен дом, в котором располагалась караванная контора. В ней бывал Д. Н. Мамин-Сибиряк. В то время по описанию автора «Бойцов» контора представляла собой «красивое двухэтажное здание с мезонином и широким железным балконом, выходящим прямо на реку». На втором этаже находилась квартира караванного, а на нижнем — служебное помещение, которое отличалось «страшнейшим беспорядком, канцелярски-промогзлым воздухом и специально-деловой пылью и грязью...»

В наше время в этом доме размещался сельский Совет и правление колхоза. Сейчас в нем расположен продовольственный магазин, а на втором этаже — комнаты для отдыхающих.

Несколько лет назад строители возвели новую бетонную плотину на реке Каменке. Широко разлилось зеркало пруда. Через Чусовую перекинут подвесной мост.



**Александр
ИВАНЧЕНКО**

Фото автора



ХИЖИНЫ МАКЛАЯ

Александр Иванченко — писатель и моряк, исследователь жизни и научной деятельности Н. Н. Миклухо-Маклая. Его очерки и статьи, посвященные великому русскому ученому, публикуются в литературных и научно-популярных журналах и неизменно вызывают живой интерес и отклики читателей. Они перепечатывались в Польше, Югославии, ГДР, ФРГ, во Франции, в Австралии и ряде других стран.

А. Иванченко удалось полностью повторить путь, пройденный Миклухо-Маклаем. Для этого ему пришлось совершить четыре кругосветных путешествия и провести в непрерывных странствиях в общей сложности более семи лет. А. Иванченко нашел дневники, интервью и записки жены Маклая М. Робертсон, дневники и воспоминания Ольги Николаевны — сестры ученого, многочисленные, нигде до сих пор не опубликованные его письма, интервью, отрывки из незаконченных статей, стенографические записи публичных лекций и выступлений — огромный материал, который, казалось, был безвозвратно потерян.

В Индонезии, на Новой Гвинее и других островах Океании А. Иванченко собрал о Маклае множество легенд и преданий, а в библиотеке Богорского ботанического сада (остров Ява), в создании которого ученый принимал непосредственное участие, удалось обнаружить подшивки старых колониальных газет и журналов с интервью Маклая, со статьями о нем, с его собственными публикациями.

Сейчас Александр Семенович Иванченко работает над книгой, отрывки из которой мы публикуем.

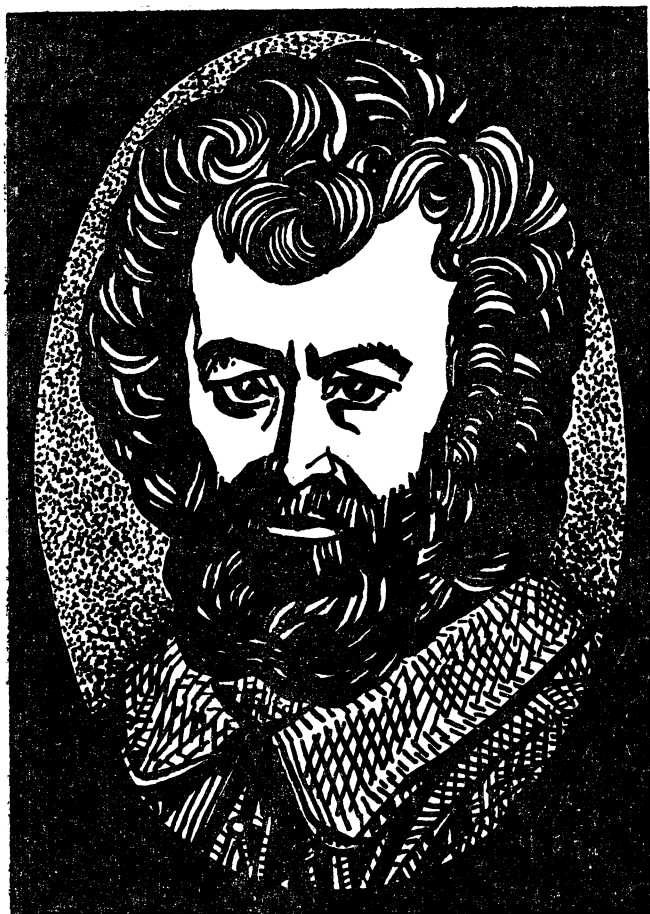


Рисунок
А. Лебедева

«...Имя мое и дело мое принадлежат России»

Путешествуя по Индонезии, где долгое время жил и работал Миклухо-Маклай, я с удивлением узнал, что нашего ученого индонезийцы считают своим национальным героем и вообще индонезийцем. О его необыкновенной доброты и часто совершенно фантастических подвигах сложено множество легенд, в которых он то отважный принц, то обладающий даром волшебника сын яванского крестьянина, то похожий на знаменитого среднеазиатского Насреддина мудрец с острова Бали. Даже его имя индонезийцам кажется чисто индонезийским.

Настоящего имени и полную фамилию Миклухо-Маклая они не знают. Все называют его Сламат (Добрый) Маклай, а слово «маклай», как это ни странно, есть в языке живущих на Яве сунданцев. Буквально оно значит «мужчина, дарующий пищу». Если же человеку дают такое имя, тогда его можно перевести просто как «Щедрый» или, если более точно, — «Хлебосольный».

Слушая рассказы о легендарном Добром Хлебосоле, я снисходительно улыбался. Между тем, подлинное значение слова «маклай» мне самому стало известно совсем недавно, хотя изучением жизни и научной деятельности Миклухо-Маклая я занимаюсь уже около двадцати лет.

Как раз перед приездом в Индонезию я побывал в Австралии.

У Миклухо-Маклая, как известно, было два сына —

Александр-Аллен и Владимир-Нильс, которые после смерти отца (Маклай умер в апреле 1888 года в Петербурге) вместе с матерью Маргаритой Робертсон уехали из России в Австралию (М. Робертсон была дочерью премьер-министра Австралии). Так вот в Австралии мне посчастливилось разыскать трех внуков Маклая: Павла Александровича, Кеннета и Роберта Владимировичей. Они живут в Сиднее. Сейчас старшему из них, Павлу Александровичу, пошел седьмой десяток, Кеннету Владимировичу — шестьдесят, а Роберту Владимировичу — пятьдесят пять. Все трое уже воспитывают внуков, но пока продолжают трудиться: Павел Александрович — репортер радио и телевидения, Кеннет Владимирович — поверенный присяжный окружного суда, Роберт Владимирович — преподаватель Сиднейского учительского колледжа.

Услышав, что я интересуюсь их дедом, они очень обрадовались и удивились. Им казалось, что в России Маклая давно забыли. Принимая от меня в подарок книгу Лидии Тыняновой «Друг из далека» и мои журнальные очерки о путешествиях по следам Миклухо-Маклая, Роберт Владимирович, который немного говорит по-русски и в доме которого, условившись по телефону, мы все встретились, был так взволнован, что даже прослезился и прямо-таки не знал, куда меня усадить. Небольшого роста, худой, с искристыми, как у мальчишки, глазами и взлохмаченной серебристо-каштановой шевелюрой, он все шутил и звал на помощь жену:

— Алиса, боже праведный, Алиса!.. Нет-нет, тут солнце, садитесь, пожалуйста, сюда... Павел, ну, подвинься же!.. Нет, извините, здесь мрачно, лучше сюда... Боже, кто придумал эту комнату — то мрачно, то солнце в глаза. Идемте на веранду, там уютнее. Алиса, ты слышишь меня, Алиса, носи все на веранду!..

За обедом гостеприимные хозяева рассказали мне, что их бабушка до самой своей смерти (М. Робертсон умерла в 1936 году) по всему миру собирала неопубликованные письма Маклая, его газетно-журнальные интервью, стенограммы публичных выступлений, не вошедшие в собрание сочинений статьи, заметки и все, что так или иначе связано с именем ученого. Она готовилась писать книгу, но работать над ней начала лишь в 1935 году, когда здоровья уже не было. Поэтому, чувствуя близкий конец, весь свой архив она передала на хранение частью в библиотеку Сиднейского университета и частью — в рукописный фонд библиотеки Хатчела (Сидней).

Потом с Робертом Владимировичем мы побывали в обеих библиотеках и с его помощью я получил разрешение познакомиться со всем, что меня интересовало.

Среди материалов, собранных Маргаритой Робертсон, неожиданно оказалась папка с дневниками и воспоминаниями Ольги Николаевны — младшей сестры Маклая, умершей на семь лет раньше брата. Судя по всему, она тоже думала о книге. Самое любопытное в воспоминаниях Ольги Николаевны — довольно подробный рассказ о семье и родословной Миклух. До сих пор эта сторона биографии ученого нам была известна только в общих чертах. Есть в записках Ольги Николаевны и рассказ о происхождении фамилии Миклухо-Маклай.

Везде, куда бы ни забросила судьба Маклая, он повсюду возил с собой четыре книги — повесть Гоголя «Тарас Бульба», томик стихов Мицкевича, трагедию Гете «Фауст» и роман Чернышевского «Что делать?». Это были не просто его любимые произведения. Каждая из этих четырех книг была для Маклая чем-то более значительным.

Родной дядя Миклухо-Маклая, Григорий Ильич, старший брат отца, учился вместе и дружил с Николаем Васильевичем Гоголем, который очень интересовался семейными преданиями Миклух.

Дальний предок Маклаев Охрим Макуха был одним из куренных атаманов в войске запорожском. Вместе с ним за освобождение Украины от польского засилья воевали три его сына — Омелько, Назар и Хома. Назар влю-

бился в шляхетскую панночку, и предав казаков, перешел на сторону поляков и укрылся с ними в осажденной запорожцами крепости. Опозоренные перед товариществом, Омелько и Хома решили выкрасть брата-предателя из крепости, чтобы судить его казацким судом. И сделали свое дело. Но, уже покидая крепость, вдруг натолкнулись на стражников. Уклониться от схватки было невозможно. И Хома кинулся на поляков, крикнув брату, который тащил на спине связанного Назара:

— Уходи, я их задержу!

В неравном бою Хома погиб, но Омельке с пленником удалось уйти. За предательство Охрим собственноручно казнил Назара.

Этот эпизод, судя по всему, и послужил Гоголю поводом для создания образа Тараса Бульбы. Он знал и слова, которые Миклухи передавали из поколения в поколение, приписывая их Охриму:

— Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек.

Не менее замечательной личностью был и правнук Охрима, казак Степан Макуха, прадед Миклухо-Маклая, который носил прозвище Махлай, что по-украински значит «вислоухий» или «недотепа». Во время русско-турецкой войны при взятии Очакова в 1772 году Степан, командовавший конной сотней, отличился. За военную смекалку и беспримерное героичество ему пожаловали чин хорунжего и по ходатайству генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунайского даровали дворянство. По этому случаю Степана вызвали в Петербург, где его принимала императрица Екатерина II. Она лично преподнесла ему дворянскую грамоту и повесила на шею ленту с боевым орденом Владимира I степени.

Но казак оставался казаком. Подписывая казенные бумаги, по обычаю запорожцев, рядом с фамилией он должен был ставить и свое прозвище: «Хорунжий войска Запорожского, царской милостью дворянин, казак Степан Макуха, по прозвищу Махлай».

Называть себя недотепой в казенных бумагах Степану, конечно, было не особенно приятно. Да и фамилия подворянски не звучала. Что такое Макуха? Жмых, значит, выжимки масляных семян. И Степан переделал чересчур плебейскую «Макуху» — в «Миклуху», а «Махлая» — в непонятное «Маклай». А для пушей важности стал писать эти слова через черточку.

Ту прадедовскую подпись и взял себе в качестве фамилии Николай Николаевич, несколько переиначив первое слово, — Миклухо.

Запорожцы Охрим Макуха и его доблестный правнук Степан Миклуха в семье Миклух были легендарными героями, их гордостью. Но никаких портретов старых воинов не осталось, и оба они для Миклух олицетворялись в гоголевском Тарасе Бульбе, рисунок которого Николай Ильич, отец Миклухо-Маклая, постоянно держал у себя на столе.

Сам Николай Ильич был дворянином Стародубского уезда Черниговской губернии без надела, то есть без родового поместья. Екатерина II дала Степану дворянство и наградила его высоким орденом, но деревню под Черниговом, из которой происходили Миклухи и где был когда-то хутор Остапа Макухи, отца Степана, с всеми угодами и людшками подарила во время закрепощения украинского крестьянства своему фавориту графу Орлову. Так что вольные казаки Макухи превратились в крепостных, стали быдлом, и только одну их ветвь по линии Степана спасла от злой участи дворянская грамота. Но эта грамота не помешала графу Орлову отнять у Степана «на законном основании» отцовское наследство, и все Миклухи потом добывали себе средства для жизни либо службой в армии, либо трудом мелких чиновников.

Илья Захарович, отец Николая Ильича, был офицером Низовского полка и сделал кампанию 1812 года в чине

премьер-майора. Тяжело раненный в сражении под Березиной, он в 1813 году демобилизовался и жил на пенсию по инвалидности. Умер он, когда его младенцу, сыну Коленке, шел второй год — в 1820 году в Стародубе.

Рано потеряв отца, Николай Ильич, как и его старший брат Григорий, учился в Нежинском лицее, зарабатывая деньги на учебу частными уроками. Лицей он закончил с отличием и мечтал получить высшее техническое образование. Для этого нужно было ехать в Петербург, но денег на дорогу не было и весь путь от Черниговщины до столицы Российской империи юноша проделал пешком. В Петербурге ему повезло, просто посчастливилось.

Слоняясь по набережной Невы без гроша в кармане, голодный и немывтый, он уже ни на что не надеялся, думал только, где бы заработать хоть на кусок хлеба. Вдруг его кто-то окликнул по-украински:

— Эгэй, хлопчэ!

Смотрит, разодетый в пух и прах панич. Лет семнадцати-восемнадцати, как и ему, Николаю. Стоит, поигрывает тросточкой, улыбается.

Николай обрадовался: земляк, значит, раз окликнул по-украински. И стыдно стало перед расфранченным барином, вспомнил, в каком он виде. Но коль зовут, надо подойти.

— Здрастуйтэ...

— Здоров будь! А ты звидкы?

— З Чорнигивщины.

— Чорнигивський? Та нэвжэ? А я тэж чорнигивський.

Чув про Чэрвоный Риг?

— Од нас цэ недалэчко, я из Стародуба.

— Ну, то щэ раз здоров будь, зэмлячэ! — и руку протянул, смеется весело. — А я бачу: картуз Нижиньского лицэю и сорочка выштыа, то думаю, мабудэ, зэмляк мий. А воно так и е. Цикаво!

Как говорит в своих записках Ольга Миклуха, эта случайная встреча на набережной Невы и решила судьбу Николая Ильича.

Паничем с тросточкой оказался граф Алексей Константинович Толстой — будущий известный русский поэт и, как называл его император Александр II, «ходатай по делам малороссиян». Его матерью была Анна Алексеевна Перовская — внучка последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского, а отцом — граф Константин Петрович Толстой, который в жизни сына, однако, не играл никакой роли. Анна Алексеевна развелась с ним сразу после рождения ребенка, и больше в их доме он никогда не бывал.

Шести недель от роду будущего поэта увезли из Петербурга на Украину, где его воспитанием занимался Алексей Алексеевич Перовский, родной брат матери, известный в то время писатель, выступавший в печати под псевдонимом «Антоний Погорельский».

Потом девятилетнего Алешу Толстого снова привезли в Петербург и ввели в круг детей, составлявших ребячью компанию цесаревича Александра — будущего императора Александра II. Цесаревич полюбил своего нового приятеля и в течение следующих восьми лет царская семья для Алексея Константиновича была вторым домом. Но он не забывал Черниговщину и помнил украинский язык.

Вот почему, встретив на петербургской улице хлопца в вышитой украинской сорочке, молодой граф не прошел мимо. Расспросив, что привело воспитанника Нежинского лицея в столицу и узнав, в каком тот бедственном положении, Толстой ссудил земляка на первое время деньгами, сам снял для него в центре города комнату и помог поступить в Институт корпуса инженеров путей сообщения, который Николай Ильич Миклуха и закончил с успехом в 1840 году.

Позже через Толстого Николай Ильич познакомился с Некрасовым и Герценом, с семьей которого Миклухи сблизились и подружились на долгие годы. Переписка между ними продолжалась и после того, как Герцен эмигрировал в Англию.

Десять лет Николай Ильич работал на строительстве Петербурго-Московской железной дороги, руководил прокладкой пути на самом трудном по природным усло-

виям северном участке трассы. Потом ему присвоили чин инженера-капитана и назначили начальником петербургской пассажирской станции и вокзала.

В 1856 году, за год до его смерти, с должности начальника станции он был уволен и едва не попал в тюрьму.

Как раз в то время, надеясь на свою дружбу с только что коронованным императором Александром II, Алексей Константинович Толстой начал известные по биографии Тараса Шевченко хлопоты перед царским правительством об амнистии или хотя бы о смягчении приговора Кобзарю, который уже много лет томился в каторжной солдатине. Александр II, однако, ходатайство приятеля своей юности категорически отклонил.

— Толстой, друг мой, — сказал он Алексею Константиновичу, — хлопочи о своих малороссиянах, да знай меру.

Отказ императора облегчить участь великого украинского поэта вызвал у передовой интеллигенции России гневное возмущение. Кто как мог старался заявить о своей солидарности с Кобзарем. Не остался в стороне и Николай Ильич Миклуха.

С творчеством Тараса Шевченко он был знаком давно. Еще в 1842 году Толстой подарил ему рукописные списки «Гайдамаков» и «Катерины», затем от него же он получил поэмы «Кавказ», «Гамилию» и «Еретик». И вот теперь, когда шла кампания за освобождение Кобзаря, Николай Ильич решил выразить свою поддержку поэту тем, что послал ему в ссылку 150 рублей. Дело, конечно, не в сумме. Важно другое: человек, состоящий на государственной службе, и стало быть, полностью зависимый от милостей государства, царской почтой посылает деньги царскому узнику!

Чтобы по достоинству оценить поступок Николая Ильича, нужно вспомнить, о каком времени идет речь.

Еще не забыта казнь декабристов и кровавое подавление восстания в царстве Польском — так называлась тогда входившая в состав Российской империи Польша. В стране ширится движение революционеров-разночинцев и народолюбцев. В Петербурге вынашиваются планы покушений на царя и его ближайших чиновников.

Петербургская железнодорожная станция обслуживает царский поезд, курсирующий между первопрестольной Московской и столичным Петербургом. Здесь, на станции, организовать покушение на царя и членов его свиты легче всего, поэтому начальником станции должен быть человек особенно надежный.

И вдруг начальник станции оказывается сочувствующим одному из самых опасных бунтарей империи!

Денежный перевод на почте, понятно, задержали. А с занимаемой должности Николай Ильич был сразу же уволен. Началось следствие.

Трудно сказать, чем бы все кончилось, если бы у Николая Ильича неожиданно не началась скоротечная чахотка. Дни его были сочтены.

Умер Николай Ильич, когда ему не было еще и сорока, в 1857 году.

«Это случилось, — пишет Ольга Миклуха, — в середине декабря, если не ошибаюсь, в воскресенье. Я помню, мы все были дома. Но, может быть, никто не выходил из-за погоды — была страшная метель с заносами. Остановился весь транспорт и доктор Боков¹, лечивший отца и всю нашу семью, никак не мог к нам добраться. Он жил тогда на Васильевском острове, от нас довольно далеко.

Утром отец потерял сознание, потом, уже после полудня, как бы вдруг проснулся. Нельзя было подумать в тот момент, что он открыл глаза, чтобы увидеть нас в послед-

¹ Известный в то время в Петербурге народоволец, доктор Петр Иванович Боков был также личным врачом и близким другом Н. Г. Чернышевского. Через Бокова семья Миклух впервые познакомилась с трудами великого русского демократа, и его идеи оказали на всех Миклух глубокое влияние, а для юнога Маклая, по его собственным словам, они стали «главным указателем в определении жизненного пути и избрании идеалов, служение которым достойно чести».

ний раз... Мне запомнилась его улыбка: не веселая, но и не печальная, как у человека чем-то удовлетворенного — не радостно, а как-то тихо. Так бывает, когда утихает сильная боль. Мы решили, что наступило облегчение.

Он попросил нас подойти к нему ближе и сказал, сколько я помню, совсем не трагично: «Пожалуйста, Катенька, и вы, дети, наберитесь мужества, я покидаю вас».

Серееже тогда шел тринадцатый год, Коле было одиннадцать, мне — девять с половиной, Володе — восемь и полтора года Мишутке. Мы четверо старших к тому времени уже избрали себе род занятий на будущее. Сереежа хотел стать судьей, Коля — естествоиспытателем, я — художницей, Володя — военным моряком. Наверное, из-за этой нашей определенности в занятиях отец, прощаясь, говорил с нами о наших будущих специальностях.

Трудно, спустя много лет, припомнить каждое слово, но примерно отцовское завещание было таким:

Серееже: «Тебе будет нелегко, сынок. Закон и совесть не всегда в примирении, а судья, хоть он и живой человек, с душой и совестью, повинен непременно покоряться только закону. Это правильно, Сереежа, но закон надо толковать, однако же, и разумом и душой, а суждения выносить в согласии с совестью. Нелегкая задача, а уйти от нее человеку-судье никак нельзя, потому подумай прежде хорошоенько, достанет ли у тебя гражданской отваги».

Коле: «Я хотел бы, Коленка, чтобы ты руководился в дальнейшем вот чем: всякая мысль в науке важна и полезна, если от нее можно ожидать видимую пользу в обыденной жизни. В мыслях человек способен уйти далеко, но и на дальнем расстоянии надобно иметь целью что-нибудь необходимое для общей пользы в жизни, потому как наука нужна не самой науке, а всегда — людям».

Ольге: «Я знаю, Оленька, ты будешь честно служить искусству. Этого и довольно — всем нести прекрасное».

Володе: «Тебе, Володенька, колъ ты решаешься стать защитником отечества, надобно постоянно помнить, что честь его превыше всего. Пускай оружие в твоих руках служит доблести и славе, остальное приложится».

Мишутке: «Ты, дорогой мой медвежонок, будешь правдолюбом, правда?»

Последние слова отца были обращены к маме: «Прости меня, Катенька, тяжелую ношу тебе оставляю...»

Никто из нас не верил, что сейчас его не станет. Он говорил ровным голосом и так серьезно, что в серьезность происходящего поверить было невозможно. Только после мы поняли, почему свою речь он построил таким образом. Чувствуя, что смерть близка, он торопился внятно сказать каждому наиболее важное. На последнем слове впал в забытьи и, не приходя больше в сознание, умер».

Редкий родитель распространяет свое влияние на детей так далеко, чтобы они, став взрослыми и вполне самостоятельными, подчиняли этому влиянию все свои помыслы и поступки. Николай Ильич завещал детям не дороги в жизнь — они их выбирали сами, — а как по ним идти, какими быть в своих мыслях и поступках. И вот в этом, главном, и может быть, самом изменчивом человеческом качестве никто из пятерых детей не изменил заветам отца.

Справедливым и неподкупным мировым судьей был на Киевщине Сергей Николаевич Миклуха.

Всю жизнь отдал служению людям великий ученый Николай Николаевич Миклухо-Маклай.

Замечательной художницей и добрейшим человеком была Ольга Николаевна Миклуха.

Горным инженером и народовольцем, сподвижником Софьи Перовской стал Михаил Николаевич Миклуха.

Доблестно защищая честь русского флага, героически погиб в неравном бою под Цусимой командир броненосца «Ушаков» капитан первого ранга Владимир Николаевич Миклухо-Маклай, принявший в последние годы своей жизни фамилию брата.

Помните, у Новикова-Прибоя:

«Ни один корабль из 2-й эскадры не попадал в такое трагическое положение, в каком оказался «Ушаков». Все люди на нем находились на своих местах, все выполняли

свой долг, готовые умереть на своем посту. Но никакая отвага уже не могла спасти броненосец. Бой для него свелся к тому, что быстроходные неприятельские крейсера, держась вне досягаемости русских снарядов, расстреливали его совершенно безнаказанно. А «Ушаков» не мог ни уйти от них, ни приблизиться к ним. Он уподобился человеку, привязанному к столбу на расстрел. Для одинокого и подбитого корабля таким столбом служило пространство, а веревками — тихий ход. Но как гордый человек, умирая за свои идеи, не просит пощады у тех, кто приговорил его к смерти, так и «Ушаков», обреченный на гибель, был непреклонен перед своим врагом...»

Боевая способность корабля была исчерпана. Это больше, чем кто-либо другой, учитывал командир.

— Пора кончать! Застопорить машины! Прекратить стрельбу! Затопить корабль!..

Оба неприятельских крейсера продолжали стрелять по «Ушакову»...

«Ушаков» с креном на правый борт медленно погружался в волны. На правом ноке его грот-реи, приводя в ярость врага своею непокорностью, развевался боевой андреевский флаг...».

Бесстрашный командир броненосца до последней минуты, не думая о себе, руководил спасением экипажа и погиб в волнах океана, ненадолго пережив свой корабль.

Владимир Николаевич отказался от места в подошедшей к нему спасательной японской шлюпке. Она была слишком переполнена, а рядом тонул раненый матрос — командир указал на него...

Екатерина Семеновна, мать Н. Н. Миклухо-Маклая, родилась в семье врача, подполковника в отставке Беккера, женатого на польской дворянке Лидии Шатковской.

Семен Федорович Беккер, или Фридрих фон Беккер, был немцем. Он приехал в Россию в 1812 году, чтобы сражаться с ненавистным ему Наполеоном.

Когда французская армия двинулась на восток, оккупировала Германию, доктору Беккеру было уже тридцать пять лет, он имел чин майора и служил начальником военного госпиталя во Франкфурте-на-Майне. Французы его не тронули и просили даже оставаться на прежней должности в том же госпитале, который теперь обслуживал армию Наполеона. Но служить оккупантам Беккер не пожелал. Узнав, что Наполеон намеревается вторгнуться в Польшу, а затем идти походом на Россию, майор поспешил в далекий Петербург, где предложил свои услуги русскому военно-медицинскому ведомству, веря, что здесь, в России, непобедимый до сих пор Наполеон будет обязательно разбит.

Беккер не ошибся и потом всю жизнь этим гордился, говорил: «О, вы не знаете Россию! А я знал, хотя никогда раньше ее не видел. Мой отец служил королю польскому, а дед был лейб-медиком при дворе императрицы Екатерины! Поэтому я знал, что следом за Германией Наполеон возьмет без труда и Польшу, а дальше, двинувшись на Россию, там сломает себе хребет. Если мой дед что-нибудь говорил, слов на ветер он не бросал...»

Зачисленный в действующую армию, Беккер попал в тот самый Низовский полк, в котором воевал премьер-майор Илья Захарович Миклуха, и в том же сражении под Березиной тоже был тяжело ранен. Они вместе лежали в госпитале в Могилеве и стали приятелями.

Там, в Могилеве, Беккер встретил Лидию Шатковскую. Выходя за него замуж, она надеялась, что после освобождения Германии от наполеоновских войск муж увезет ее во Франкфурт-на-Майне, но Беккер решил навсегда осесть в России. Получив за сражение под Березиной повышение в чине и сразу же уволенный в отставку по инвалидности, он крестился в православную веру, принял русское имя-отчество (Семен Федорович) и поселился в Москве на Воробьевых горах. Там находилась больница для простолудинцев, куда он нанялся на работу в качестве хирурга.

В 1843 году Семен Федорович уже в преклонном

возрасте выезжал с группой московских врачей на строительство Петербургско-Московской железной дороги для ликвидации какой-то эпидемии. Случайно ему выпало обслуживать как раз тот северный участок дороги, которым руководил, как оказалось, сын его однополчанина — инженер Николай Ильич Миклуха.

Летом того же года Николай Ильич гостил у Беккеров в Москве и там познакомился со своей будущей женой. Екатерина Семеновна была пианистка, занималась также музыкальной композицией, увлекалась живописью.

В дневнике Ольги Миклухи читаем:

«Кроме Сережи, с десяти лет целиком отдавшего себя изучению юридических наук и книг по судебной практике, музыку, литературу и живопись у нас в семье любили все. Помню, уже в Петербурге мы с Колей сделали два больших альбома иллюстраций к сочинениям Гоголя, Папа писал маслом пейзажи, а маме очень хорошо удавались портреты углем и пейзажные акварели. Володя рисовал, конечно, только море и корабли...»

По субботам у нас обыкновенно устраивались семейные литературно-музыкальные вечера. По очереди читали стихи под музыку мамы — она сама подбирала мелодию и аккомпанировала на фортепьяно. В репертуаре были Гете, Мицкевич, Жуковский, Шевченко, Некрасов, Лермонтов, Пушкин, Алексей Толстой. Папа особенно замечательно читал «Гайдамаков» и «Мцыри». Мы тогда гасили свет и слушали затаив дыхание...»

Позже, когда Николай Ильич умер, музыку и живопись Екатерине Семеновне пришлось сменить на картографию. У доктора Беккера было четыре дочери и два сына, поэтому, хоть он и считался человеком состоятельным, каждому из шести его наследников больших капиталов не досталось. Осиротевшей семье старались, правда, помогать Шатковские, но много дать они тоже не могли. Похоронив мужа, Екатерина Семеновна была вынуждена зарабатывать на жизнь разрисовкой географических карт и школьных атласов.

Остается сказать еще, что Шатковские находились в родстве с Мицкевичами, а Беккеры вели свой род от общего корня с Иоганном Гете. Поэтому Мицкевич и Гете для Н. Н. Миклухи-Макля были не только поэты...

Необычная фамилия Миклухо-Макля многих удивляла, и люди часто спрашивали, какой он национальности. Такой же вопрос в марте 1884 года задал ученому корреспондент австралийской газеты «Сидней морнинг геральд».

Рассказав журналисту о происхождении своих родителей, Николай Николаевич потом сказал:

«Моя особа представляет собой живой пример того, как благополучно соединились три извечно враждовавшие силы. Жаркая кровь запорожцев мирно слилась с кровью их, казалось, непримиримых врагов ляхов, разбавленной кровью холодных германцев. Чего в этом коктейле больше или какая из его составных частей во мне наиболее значительная, судить было бы опрометчиво и вряд ли возможно. Я очень люблю родину моего отца Украину, но эта любовь не умаляет моего уважения к двум отечествам родителей моей матери — Германии и Польше.

Лишь тот достоин жизни и свободы,

Кто каждый день за них идет на бой!

Разве эти слова «холодного» германца не зажигают сердца?

А вот «надменный» лях:

Други, в бой! И строим согласным

Всю планету вокруг опояшем!

Пусть пылает в единстве нашем

Мысль и сердце пламенем ясным!

Я не думаю, что какой-то из трех наций, составивших мою особу, мне следует отдать предпочтение. Кровные узы я, конечно, признаю и отношусь к ним, насколько мне кажется, с должным уважением, но состав крови, на мой взгляд, не определяет национальность. Важно, где, кем и на каких идеалах воспитан человек. Если мы въз-

мем малайского ребенка и воспитаем его в английской семье и среди англичан, разве он останется малайцем? У него сохранятся только антропологические черты, то есть внешность малайца, но образ мышления, вкусы и запросы будут совершенно английские и потому по духу этот человек будет англичанин.

Весь вопрос в том, что называть национальностью, биологическое начало или духовное содержание человека. Лично я склонен думать, что решающее значение имеет духовное содержание. Деды основателя русской антропологии академика Бэра происходили из Германии и Швеции, но, однако же, по образу жизни и по всему своему содержанию он был человеком положительно русским и отечеством своим почитал Россию. Точно так же имя мое и дело мое принадлежат России».

Корреспондент спрашивает:

— Если мне не изменяет память и я правильно вас понял, в интервью газете «Трибюн» вы недавно сказали, что исследователь, посвятивший свою жизнь служению идее равенства всех наций и рас, должен обрести в себе чувство гражданина мира и сына человечества, не так ли?

Маклай отвечает:

«Все зависит от того, какую вы ставите перед собой цель: что-то опровергнуть или доказать. Ваше изначальное намерение предопределяет, а разум определит и необходимые моменты фактами подтвердит конечный результат. Но будет ли это истина? Нет, даже будучи как будто очевидной. Потому нет, что истина никогда не бывает однозначной. Если вы смотрите на дерево, оно кажется вам реальным и воспринимается как очевидная истина. Но это только часть истины, а не вся истина, и значит, вообще не истина, так как большая или малая часть чего-то не может представлять собой нечто целое в его законченном виде. Половина яблока — всего лишь половина, а не все яблоко. Точно так же обстоит дело с истиной. Я имею в виду, разумеется, абсолютную истину.

Кроме видимой глазу кроны, у дерева есть корневая система, есть почва, давшая дереву устойчивость и корм, есть подземные воды, растворившие этот корм и сделавшие его доступным корням, есть питанная живым листом тепловая солнечная энергия, которая через посредство химических реакций превращается в растении в механическую силу, необходимую дереву для подъема кормов и влаги из земли к веткам, есть, наконец, воздушная среда, которая тоже питает дерево и во многом определяет его жизнь.

Так вот все это в совокупности и есть истина, целая система, а не только то, что видно глазу и потому воспринимается часто как вся реальность. Мы видим отсталого в своем развитии островитянина и спешим сделать вывод о принадлежности данного субъекта к будто бы худшей части человечества. Между тем, существует множество причин, обусловивших отсталость островитянина. Не учитывать все эти причины, значит, не быть объективным. Быть же объективным в моем понимании, значит, отрешиться от всяких тенденций и подчинить себя только поискам истины во всей ее совокупности. В моем положении исследователя, поставившего своей целью доказать миру, что все люди — люди, и сделать невозможным само стремление оправдывать колониальные захваты, грабежи и насилия, первым условием для этого является чувство ответственности перед всем человечеством, одинаково беспристрастное отношение ко всем народам и расам, так как иначе меня обвинят в необъективности и все мои старания окажутся напрасными.

Но чувствовать себя сыном человечества не значит забыть родной дом. Я еще не встречал человека с нормальной психикой, который был бы холодно беспристрастен к матери. Поэтому над своими хижинами в Новой Гвинее я всегда поднимал русский флаг».

Корреспондент ловит на слове:

— Говорят, в России с вами обошлись не слишком ласково?

Ответ Маклая спокоен:

«Меня исключили из шестого класса гимназии и затем



Наш старый проводник



запретили посещать Петербургский университет, куда, несмотря на отсутствие документа о законченном среднем образовании, я был определен вольнослушателем. Поэтому мне пришлось ехать учиться в Германию. После исключения из университета я не мог поступить ни в какое другое высшее учебное заведение России, так как находился под надзором полиции. Но это не значит, что учиться в России мне не позволила Россия.

Из гимназии я был отчислен по настоянию попа Василия за то, что на уроках закона божьего читал «Письма об изучении природы» Александра Герцена и как-то принес в класс «Сущность христианства» Фейербаха.

В то время моим «законом божьим» стал и продолжает им быть роман Чернышевского «Что делать?». Под влиянием его идей, кроме Герцена и Фейербаха, я начал изучать труды Сеченова, Писарева, Гегеля, отдельные труды Добролюбова, Белинского и все, что появлялось в печати за подписью самого Чернышевского. Кроме того, моя мать регулярно получала запрещенный журнал «Колокол». Это определяло мои настроения и в конечном счете привело к участию в студенческих митингах и демонстрациях. В одной из таких демонстраций еще до моего исключения из гимназии я и мой старший брат Сергей были арестованы и посажены в Петропавловскую крепость, но я никогда не считал, что нас наказывала Россия.

Попы и полицейские в России, как и в других странах, являются частью государственного механизма, но даже если речь идет о целом государственном механизме, нельзя считать, что он соответствует характеру страны. Когда вы выступаете против существующего обществен-

ного устройства, совершенно естественно, что люди, призванные высшей властью сохранять это устройство, применяют к вам меры наказания. Но было бы по меньшей мере неразумно, обидевшись на полицейского, переносить свою обиду на страну.

Говоря о своей принадлежности к России и гордясь этим, я говорю о своем духовном родстве с теми ее представителями, которых принимаю и понимаю как создателей истинно русского направления в науке, культуре и такой важной для меня области, как гуманизм. Но это не то родство, которое дает повод для семейного застолья. От каждого, кто его сознает, он требует прежде всего постоянной дисциплины в мыслях и делах. По сути я служу не своей собственной идее, а выполняю программу исследований, основное направление которых определил академик Бэр. Затем я руководствуюсь в своих изысканиях трудом Сеченова о рефлексах головного мозга и работой Чернышевского «Антропологический принцип в философии». Как видите, все русского происхождения.

Кстати, мне доставляет удовольствие сказать, что Россия единственная европейская страна, которая хотя и подчинила себе много разноплеменных народов, но все же не приняла полигенизм даже на полицейском уровне. В России полигенисты не могут найти себе союзников, так как их взгляды противны русскому духу...»

Наверное, об этом же думал Маклай, когда незадолго до своей смерти в больнице диктовал жене на английский язык (русского М. Робертсон не знала) «Заметки о природе русского гуманизма». К сожалению, статья эта из рукописного наследия ученого была изъята царской цензурой и, скорее всего, — уничтожена. В архиве Маргариты Робертсон сохранился лишь небольшой отрывок, который она вывезла из России, очевидно, потому, что это был только черновой набросок.

Вот этот отрывок:

«Русская мысль, если говорить о мысли плодотворящей, рождающей новые идеи и новые взгляды на природу вещей, — явление замечательное и потому уже, что оно существует, кажется как будто противоестественным. Ведь мысль, способная ниспровергнуть общепринятое и утвердить что-то новое, — искра, возникающая от столкновения мнений, от сомнения, побуждающего искать истину. Чтобы такие искры высекались, людям нужна внутренняя духовная свобода и нужно общество, позволяющее свободу мнений. На Руси же, если мы проследим историю Русского государства от Иоанна Грозного до наших дней, за вычетом, может быть, эпохи Петра I, не допускалась под страхом смерти или тюремного заточения не только разница во мнениях, но даже попытка усомниться в чем-то, что являлось установленным и принятым в государстве.

Дикая татаро-монгольская орда с ее свирепой жестокостью, презрением к духовным ценностям и разделением общества на рабов и вождей принесла и укоренила на века в Русском государстве положение, при котором право думать получили только те из нижестоящих, кто, думая, в мыслях своих угадывал желание вожды. А коль скоро всякое слово толковать можно по-разному и человек, намереваясь сказать одно, невольно может дать повод понимать его иначе, от страха не угодить вождю родилась привычка говорить и писать пространно, все со всех сторон обкашивать, обтолковывать, дабы понятным быть в одной лишь позволительной плоскости. Все речи заведомо строились с расчетом на понимание примитивное и потому развитию мышления у тех, кто читал их или слушал, они не способствовали.

Силой ума, характерами и своим отношением к действительности вожди отличались друг от друга часто настолько, что казались полной противоположностью, однако установленного регламента с незначительными отклонениями все придерживались одинаково. Вождь, не обладавший проницательным умом, иных речей не воспринимал и существующий порядок общения ему представлялся единственно правильным; тот же, кто видел и понимал больше своих подданных, сознательно поощрял косность, так как управлять ею проще и безопаснее.

По этой же причине границы Русского государства всегда служили не только оборонительными рубежами, но и как бы второй великой китайской стеной, ограждавшей русский народ и подчиненных ему инородцев от «дурного» влияния не угодных русским вождям примеров. И с той же целью была введена строгая система видов на жительство, дабы каждый гражданин постоянно находился под государственным контролем и наблюдением лиц, назначенных отвечать за сохранность установленного единообразия в мыслях и настроениях.

И вот при всех этих порядках, которые ведут лишь к всеобщему отуплению, животворящая русская мысль вопреки всем насилиям и царящей нравственной тьме все-таки произрастает и всему свету на изумление приносит замечательные плоды.

Когда заходит разговор о русской науке и культуре, людей, мало знающих Россию и привыкших смотреть на нее, как на одно из самых деспотических государств, бесправный народ которого, казалось бы, не может дать ничего хорошего, поражает в русской мысли ее неизменный гуманизм. А она, страдальца, пройдя через все испытания, пробившись сквозь тернии, не может нести в себе зло. Страдание озлобляет натуры холодные, с корыстной душой и умом либо слабым, либо чересчур односторонним; русский же человек по своему характеру горяч и отзывчив, а если бывает злобен и совершает поступки буйно жестокие, то лишь в отуплении или безысходном отчаянии. Когда же ум его просветлен и он видит истоки зла, в страданиях своих он никогда не озлобляется и мысли его направлены не к мести, воспетой и возвышенной до святости в европейской литературе, а только к искоренению зла всеми путями и средствами, может быть, и с помощью того же зла. При этом он легко готов принести себя в жертву ради блага других, часто для него безмянанных и совершенно чуждых.

Истинно русской натуре чужды не люди чужие, ей чужд эгоизм.

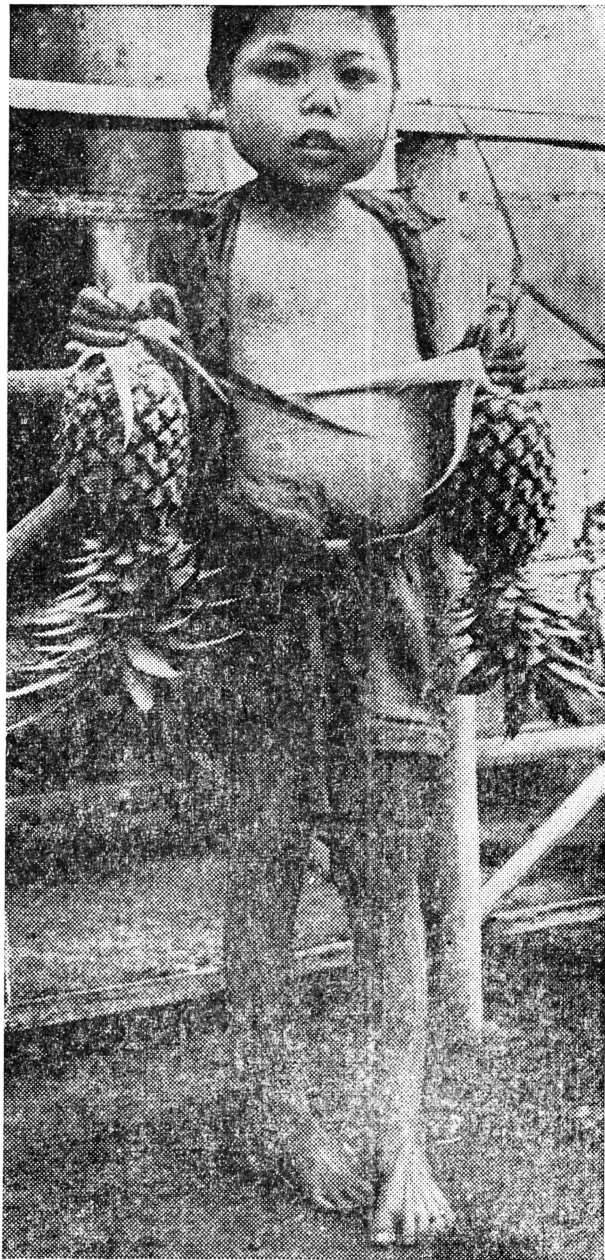
Вот откуда гуманность русской мысли. Не мог Михайло Ломоносов, долгие годы живший на черстве хлеба и кваса и достигший достатка в тяжелых трудах, не думать о конкретной плодотворной пользе науки для тысяч сырых и жаждущих. Не могли Александр Пушкин и Михаил Лермонтов не сочувствовать гордым кавказцам, на себе испытав боль унижений.

Кроме России, не много мы знаем примеров, где наука и культура, в особенности отмеченные талантом произведения литературы, были бы так едины в своих устремлениях...».

...Когда я рассказывал индонезийцам, кем был Маклай в действительности, меня внимательно слушали, но мой рассказ никто не воспринимал всерьез. Людям просто нравилось, что в далекой России их легендарного Маклая тоже считают «своим», и они улыбались.

— Да, туан, он был сыном человечества, великим сыном...

Я не спорил. И, конечно, в душе тоже был горд. Это верно, Маклай был сыном человечества, имя и дело которого дала миру Россия.



Маленький Сагам, это он сказал: «Но-жа»...

Среди папуасов

Тропа словно проколола зеленую массу джунглей. Расступившаяся внизу толща леса на высоте четырех-пяти метров смыкалась, образуя плотную крышу из листьев, ветвей и хаотичного сплетения лиан. Солнечные лучи сюда проникали, как слабый лунный свет. Было сумрачно, тихо и сыро.

Непроницаемый, фантастически могущественный лик джунглей внушал трепетную робость.

Легким свистом старик дал знак остановиться. Отогнув двумя растопыренными пальцами нижнюю губу, старик высовывал кончик языка и двигал им справа налево.



— Скоро будет развилка, сворачивать надо влево, — сказал Анди.

Подобную манеру указывать путь я видел впервые. Меня удивляло, что оба наши проводника, старик и мальчик, все время держались на почтительном расстоянии позади нас.

— У них так принято: проводник позади всегда, — ответил на мой вопрос Анди. — Если будешь идти за ним, папуас решит, что ты ему не доверяешь или хочешь на него напасть.

Под ногами захлюпала вода. С хорошо проторенной

тропы мы свернули в узкую извилистую щель. Шли по болоту, протискиваясь меж замшелых черных стволов деревьев. Это были не сами деревья, а только их верхние, наземные, корни. Главные стволы висели в воздухе где-то над нами. Деревья вращались в землю то отдельными толстыми ветвями, то пучками тонких прутьев. Навстречу им из земли поднимались побеги. Не в состоянии пробиться к солнцу, они цеплялись вверху за сучья и, обессилев, спадали вниз, как жесткие седые космы. Анди сердито рубил их солдатским тесаком.

Я не заметил, куда пропал старик. От развилки с нами шел только мальчик. Анди сказал, что старик поспешил в деревню более коротким путем.

Соблюдать обычаи папуасских проводников мальчику, видимо, надоело. Однажды догнав нас, он уже больше не отставал. Неуклюже переваливаясь на своих кривых ножках, старательно семеня рядом с Анди. Уголки его глаз восхищенно следили за тесаком. Анди дал ему потрогать лезвие. Осторожно коснувшись стали, мальчик зачарованно выдохнул:

— Но-жа...

С Анди мы разговаривали по-русски, и до меня не сразу дошло, что мальчик тоже сказал слово по-русски. Потом до меня дошло: «Он сказал нож по-русски!» Я схватил мальчика за плечо, попросил его повторить название тесака. Малыш испугался:

— Арен, арен, авар арен! — вырываясь, лепетал он. — Нет, нет, не нужно!

Анди эта неожиданная сцена крайне удивила. На сканзнное мальчиком слово он не обратил внимания. Я говорил слишком взволнованно, и он не мог сообразить, что мне вдруг понадобилось от мальчика.

Я медленно сказал:

— Твой тесак он назвал «ножа», это по-русски. Я хочу, чтобы он повторил.

Я требовал невозможного: ни Анди, ни меня перепуганный мальчик не понимал, хотя Анди говорил с ним на его родном языке. С горем пополам мы его немного успокоили, но свой «допрос» все же продолжали. Уж очень невероятным было услышать русское слово здесь, в этих диких джунглях, где из русских, наверное, никто никогда не бывал. Трижды посетив берега Новой Гвинеи, Миклухо-Маклай высаживался значительно восточнее или южнее, за сотни километров отсюда.

Анди совал малышу тесак, поминутно спрашивая, что это такое.

— Хадга нангор. Новое оружие, — жалобным голосом отвечал мальчик.

— А как оно называется?

— Хадга нангор.

— Да нет, как оно называется? Ты сказал «ножа», скажи, говорил?

— Хадга нангор.

Я начал думать, что мне все почудилось. Но Анди уверял меня, что когда он воевал в партизанских отрядах Западного Ириана, то не раз слышал это слово от многих папуасов. Только ему не приходило в голову, что оно русское. Да, у папуасов Новой Гвинеи металлический нож действительно «ножа»... А мальчик упорно твердил другое.

Наконец, мы выяснили, как нас всех зовут: Анди — оранг (человек) Анди, я — оранг Саша, а он — маласи (мальчик) Сагам. Теперь дело пошло легче. Что от него требовали, вроде усвоил. Повеселев, он быстро стал называть глаза, рот, уши, другие части тела. Но ни одного русского слова он больше не сказал и по-прежнему не желал повторить слово «ножа».

Неожиданно лес кончился, словно его вдруг обрубили. Отвесная стена джунглей, и сразу прозрачная роща стремительно прямых саговых пальм. Остро запахло морем, копченой рыбой, чем-то паленым. Где-то впереди заблел коза. Мальчик остановился, прислушался, заулыбался.

— Буль коза оранг Канибаи. Свинья коза человека Канибая.

— Анди! — закричал я. — Он сказал «коза», ты слышишь? Это тоже по-русски! Сагам, буль коза?

Мальчик засмеялся. Мое странное поведение его больше не пугало.

— Арен, буль коза, — поправил он, с усилием делая ударение на первом слоге. В его глазах вспыхнуло мальчишеское торжество: мол, эх ты, не можешь правильно сказать такое простое слово!

— А почему коза буль? Она не буль, она коза!

— Арен, коза буль, — упав на вытянутые руки, мальчик стал изображать козу. Она свинья потому, что у нее четыре ноги и она ест траву.

Малыш, наверно, решил, что я хочу научиться говорить на языке папуасов и в этом прошу его помощи. Роль учителя ему нравилась. Ткнув пальцем в ствол саговой пальмы, он важно сказал:

— Похон! Дерево. — Потом на солнце: — Синг-нири!

Пользуясь моментом, Анди опять сунул ему тесак.

— А это хадга нангор ножа?

Мальчик утвердительно кивнул головой:

— Ножа.

Так, далеко от дома, в каких-то богом забытых джунглях слышу русские слова! Я был растроган до глубины души. Было ясно, что хотя на этом берегу Новой Гвинеи Миклухо-Маклай не бывал, услышанные мною русские слова к здешним папуасам пришли от него. Попасть сюда иначе они никак не могли. Я думал, что, если в лексике папуасов укрепились эти два слова, обязательно должны быть еще какие-то. Какие?

Спрашивать у мальчика оказалось бесполезно. Я злился на Анди, который неплохо изъяснялся по-папуасски, относительно неплохо зная при этом и русский, а помочь мне не мог. Даже в «ножа» и «коза» не распознал «нож» и «коза». В разговоре чуть исковерканное слово русское он просто не воспринимал как русское, тем более из уст папуаса. Позже мы просидели с ним много вечеров, прежде чем нашли в языке папуасов еще одиннадцать русских слов: бычка (бык), тьялка (телка или корова), куруза (кукуруза), хлеба, арбуза, тыква, тапор, лапата, гвоздь, батылка (бутылка) и стекло.

Нам пришлось составлять папуасско-русский словарь. Занятие это было довольно трудным, так как систематизированного и вообще какого-нибудь печатного папуасского словаря пока не существует. Есть только краткие словари, вернее, словарики некоторых новогвинейских диалектов. Но современные папуасы Западного Ириана имеют и общий язык: смесь местных диалектов с малайским.

Из общего словаря ирианцев мы располагали лишь запасом слов, известных Анди. Тут я должен его всячески благодарить. Терпение он проявил редкостное. Конечно, я не уверен, что мы нашли все русские слова, которыми пользуются папуасы. Возможно, в их язык вошли еще какие-то. Миклухо-Маклай называл им по-русски все, что привозили на Новую Гвинею впервые.

Чтобы больше не возвращаться к этой теме, еще немного о слове «мария». Я пишу его с малой буквы, потому что у папуасов оно прилагательное — «красивая». Обычно его употребляют, когда хотят сказать «красивая женщина» или «красивая девушка» — «мария нангли» или «мария дундерла». На Новую Гвинею это слово мог завезти не только русский — из латинского оно давно стало интернациональным. Но скорее всего папуасы взяли его тоже от Миклухо-Маклая. В дневниках ученого есть запись, где он пишет о туземцах, обратившихся к нему с просьбой дать имя новорожденной девочке. Больше всего им понравилось имя Мария. Вероятно, девочка выросла красивой и с тех пор всех красивых женщин папуасы стали называть мариями.

Но все это я узнал позже. Тогда, по дороге в деревню Араль, кроме «ножа» и «коза», ничего русского я так больше и не услышал.

Из саговой роши вывела на край похожей на глубокое корыто долины, внизу которой лежала деревня — десятка три хижины, разбросанных по обоим берегам далеко врезавшегося в сушу узкого морского залива. На

том берегу белело каменное строение, издали напоминавшее часовню.

— Эм-ме! — воскликнул наш маленький проводник. — Онеси, дисана гитан-таль Маклай! Смотри, там каменная хижина Маклая.

Эта хижина и была целью нашего путешествия.

В последний раз покидая землю папуасов, Миклухо-Маклай обещал вернуться к ним снова, теперь уже навсегда. Он мечтал создать на острове русскую колонию, чтобы оградить туземцев от рыскавших по Океании работников и прочих охотников до легкой наживы. Ученый, однако, не предполагал, что дни его сочтены. Добравшись в июне 1887 года до Петербурга, он вскоре тяжело заболел и в апреле следующего года умер.

Папуасы тем временем ждали его возвращения. Когда в деревне Горенду, где жил русский ученый, побывала партия английских золотоискателей и один из них, некий Артур Пек, попытался зайти в хижину Маклая, туземцы, загородив ему путь, знаками объяснили, что этот дом принадлежит Маклаю, и открыть его дверь может только Маклай. Пусть тамо инглис приходит, когда будет Маклай.

Артур Пек и его друзья вынуждены были уйти. И то ли он, то ли кто-то другой пустил в Австралии слух, будто в новогвинейском доме знаменитого путешественника хранятся несметные сокровища. Спустя несколько месяцев (через год после смерти Маклая) из Сиднея за мнимыми сокровищами в Горенду прибыл военный корабль под английским флагом. Папуасы встретили незваных гостей мирно, но когда увидели, что те направляются к хижине Маклая, вступили с ними в бой. Безоружные, они готовы были умереть, но никого не пустить в священный таль Маклая. Англичане ворвались в хижину буквально по трупам.

Никаких сокровищ там, конечно, не было. Стол, два стула, шезлонг, самодельная деревянная кровать, пустые ящики. Папуасы, хотя и берегли хижину, но никогда не осмеливались переступить ее порога. Без присмотра в доме все пришло в запустение.

Неудача привела англичан в ярость, взбешенные, они сожгли всю деревню, в том числе и хижину Маклая. В довершение увезли с собой оставшихся в живых молодых мужчин, чтобы затем продать их в рабство.

Хижину Маклая сожгли. А где же будет жить Маклай? Он вернется в Горенду и на месте своего дома увидит золу.

У туземцев Новой Гвинеи есть обычай: если сгорел чей-то дом, на пепелище уже ничего не строят. Говорят, в золу вселяется злой дух. Часто из-за пожаров покидают обжитые места целые деревни.

Но папуасы, зная Маклая, верили, что там, где бывал Маклай, злые духи прятались глубоко в землю и наверх больше не поднимались. Следы, оставленные Маклаем на земле, для злых духов были онимом (ядом). Деревня Горенду поэтому была построена заново на том же месте. Новую хижину сделали и для Маклая. На тот случай, если она ему не понравится, хижины построили во всех деревнях Берега Маклая. Пусть Маклай выбирает себе самую лучшую.

Люди каждой деревни хотели, чтобы Маклай по возвращении поселился у них. И каждая деревня старалась построить хижину лучшую, чем у соседей.

Молва о хижинах Маклая постепенно распространилась по всему острову. Их начали строить даже те папуасы, которые самого Маклая никогда не видели и знали о нем лишь по рассказам. То были уже рассказы-легенды. Человек, который в представлении папуасов умел зажечь воду, творил гром, мог укротить тангрин (землетрясение) и прогнать с земли злых духов, со временем стал как бы их верховным богом, а хижины, построенные для него сначала как жилища, превратились в дома-святилища.

В Джакарте я встречался с молодым немецким антропологом Гансом Брекманом, который несколько раз бывал на Новой Гвинее и знал о ней много интересного, особенно о Западном Ириане, где ему пришлось провести



Хижина Маклая



в общей сложности около года, еще когда там хозяйничали голландцы. Он рассказал мне любопытную историю.

В деревне Дум-Мана на берегу залива Галвинка голландцы построили протестантскую церковь. Чтобы привлечь к ней туземцев, у входа в храм им давали подарки: стеклянные бусы, лоскутки цветастой ткани или что-нибудь другое. Приняв подарки, папуасы отбывали положенное время в церкви, молились, как их учил голландский священник, потом шли к хижине Маклая и там молились уже по-своему, причём с гораздо большим усердием. Они «отмаливали грехи», просили у Маклая прощения за то, что ходили в священный дом тамо голанд. Они бы не нарушили верность Маклаю, но у тамо голанд столько красивых вещей!

В 1921 году все хижины Маклая в Западном Ириане колонизаторы сожгли. Но скоро они стали появляться снова. Их опять сожгли. И опять появились новые. Потом папуасы вместо сожженных бамбуковых начали строить каменные.

Никогда раньше каменного строительства у папуасов не было. Первые здания из кирпича на Новой Гвинее построили голландцы. Папуасы взяли с них пример, но своим строениям придавали форму бамбуковых хижин Маклая. И делали все исключительно из камня, чтобы дом нельзя было поджечь.

Наивные туземцы, очевидно, считали, что других способов уничтожить их дома-святилища у европейцев не найдется. Много раз им пришлось разочароваться. Хижины Маклая по-прежнему разрушались — не огнем, так взрывчаткой. Примириться с каким бы то ни было конкурентом церковь упорно не желала. Но успеха в Западном Ириане она все равно не имела.

Помню, на острове Амбона я спросил знакомого папуасского учителя, что ему известно о Маклае. Он очень удивился.

— Вы знаете папуасского бога?

Я спросил:

— Разве Маклай — бог?

— Ну да, конечно. Вообще у папуасов и сейчас много разных духов, но есть и бог — Маклай. По крайней мере, в тех племенах, о которых я могу говорить с уверенностью. Маклай у них, как у вас Иисус Христос. Между ними, правда, есть разница. Христос сказал: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». Он хочет, чтобы его все боялись и поступает так, будто на земле все принадлежит ему одному. То он создает людей, то всех, кроме семьи Ноя, истребляет. И не понятно за что. Не могут же все быть виноватыми. А Маклай говорит: «Ждите, готовьтесь, я приду, буду жить среди вас и у каждого всего будет вдоволь». Он вселяет надежду, обещает изобилие. Я понимаю, никаких богов и духов нет, но для людей, которые должны выбирать себе бога, эта разница очень важная. По-моему, папуасы не приняли христианство потому, что Христос похож на одного из злых духов, а поклонялись они всегда только добрым духам. Но миссионеры убеждали их, что бог все-таки нужен, тогда сделали своим богом щедрого Маклая. Папуасу кажется глупым поклоняться тому, кто угрожает. Злых духов изгоняют, с ними ведут борьбу, а тут вдруг становись на колени и молись. Для чего? Чтобы тот, от кого можно ждать только страшную кару, радовался? Поэтому, если вы заслужите у папуаса доверие, он вам по секрету скажет, что молиться Христу глупо.

Не только в белом боге, но и в белых священниках папуасы видели своих врагов, которые приводили в деревни солдат, уничтожавших все, что было связано с туземными культовыми обрядами. Именно поэтому, вопреки насилью набожных цивилизаторов, имя доброго Маклая среди папуасов становилось все более популярным. Шли годы, десятилетия, но оно не забывалось. И, несмотря ни на что, хижины Маклая на земле Новой Гвинеи все-таки стоят. Теперь их меньше, намного меньше, чем было до 1921 года, но они есть. Одну из них мы и хотели посмотреть в деревне Араль.

Навстречу нам из деревни шла толпа полунагих чернокожих мужчин — человек двадцать. Впереди шагал наш проводник-старик. Маленький, сморщенный, в обтрепанных, дыра на дыре, грязно-серых шортах, найденных, наверное, где-то на свалке, он так напыжился, словно ему предстояло по меньшей мере произнести тронную речь. Не хватало только скипетра. Вместо него в правой руке он держал длинную бамбуковую палицу с ржавым металлическим наконечником.

— Ему хочется казаться перед этими людьми важной птицей, — стараясь не расхохотаться, сказал Анди.

Остановившись в двух шагах от нас, старик с надрытой хрипотой прокричал:

— Танго-танго хоге му Араль убебе! Мужчины деревни Араль явились!

— Олар-катото бабан! — поздоровались мы с мужчинами деревни Араль.

Они не ответили. Молча в упор рассматривали то меня, то Анди. Но лица при этом не выражали никакого интереса. Казалось, они были совершенно равнодушны. Я тогда еще не знал, что сразу вступать с новыми людьми в разговор у папуасов считается неприличным.

Прошла минута, вторая... Папуасы все молчали. Откровенно говоря, я чувствовал себя не очень удобно.

Наконец, из толпы вышел рослый пожилой мужчина, в котором сразу был виден начальник — его голову украшали прихваченные бисерной повязкой козы рога и закрепленная на той же повязке давно устаревшая и неизвестно как попавшая в индонезийскую часть Новой Гвинеи австралийская колониальная монета. Староста деревни.

— Олар-катото бабан! — сказал он почти грозно. — Я Нагурдан.

Анди слегка наклонил голову:

— Мы слушаем тебя, Нагурдан.

— Нагурдан слушает тебя и его, — ответил староста. — Говори.

Это значило, что он готов ответить на все наши вопросы.

Хотя наш старик уже наверняка сказал, зачем мы сюда пожаловали, Анди все объяснил Нагурдану еще раз. Он говорил, что этот белый человек (речь шла обо мне) — билен оранг, хороший человек. Он пришел издалека, потому что любит Маклая и хочет увидеть, какую хижину построили для него люди деревни Араль. Все знают, что в деревне Араль хижина Маклая самая лучшая.

Папуас слушал невозмутимо. Можно было подумать, что слова Анди не произвели на него никакого впечатления. Потом он грозным тоном сказал:

— Саги ке хоге му! Идем в деревню.

Всей толпой мы двинулись в деревню. Нагурдан шел между мною и Анди.

— Спроси его, что он знает о Маклае, — сказал я Анди.

— Маклай Карам боро-боро оранг рус. Маклай главный человек с Луны.

— А что такое «рус»?

— Рус, Араль — худи. Рус, Араль — одинаково.

— Значит, Русия — деревня?

— Ати. Да.

— Она где-то здесь недалеко?

Папуас отрицательно покачал головой, показывая копьём вверх.

— Русия дисана, матагари. Карам-нири. Русия там, высоко, на звезде Луна.

— Может быть, Маклай уже умер? К папуасам он приходил очень давно. Так долго человек не живет.

— Арен. Оранг Карам арен муэн сэн. Нади генбан. Нет. Человек с Луны не умирает. Он придет.

— Когда?

— Мондон, навалобе. Скоро, со временем. — Подумав, папуас добавил: — Надин аком авар. Нади генбан. Его ждать надо. Он придет.

После дальнейших расспросов Нагурдан стал рассказывать о том, как когда-то на землю спустился с неба злой дух. Он везде разбросал яд и все, чем питались люди, погибло. Люди умирали с голоду, а иные ели друг друга. Это совсем плохо — есть друг друга, совсем нехорошо. Маклай с Луны все видел, потому что Луна высоко и оттуда все видно. Маклаю было жаль людей. Он пришел к ним и сказал: «Ешьте кур и куриные яйца».

— Разве раньше люди их не ели?

— Нет, люди не знали, что можно есть кур.

— А что они ели до того, как на землю спустился злой дух?

Нагурдан нахмурился, он не знал, что тогда ели люди, но признаться в этом не хотел.

— Люди ели пищу, — сказал он без тени смущения. Его тускло-темные глаза были полны мудрости, он вспоминал прошлое.

В те далекие времена люди ели пищу, которой теперь уже нет. Через плечо у него висел большой гун (сумка). Там лежали разные семена. Маклай дал людям рис, бананы, саго, кокосы...

— А еще что?

— Ананасы — Маклай, манго — Маклай, бататы — Маклай. — Папуас обвел рукой вокруг. — Деревья — Маклай, трава — Маклай...

Папуасы, как я потом убедился, большие фантазеры, особенно старики. Если старик не может ответить на какой-либо вопрос, в глазах окружающих он роняет свой авторитет. Раз много прожил, он все видел и все знает. То же относится и к людям, занимающим определенное положение в обществе. Вожди, старосты и колдуны знают все потому, что им покровительствуют добрые духи, через которых они слушают мудрые советы и разные рассказы предков.

Говоря о том, что дал людям Маклай, Нагурдан многое выдумывал на ходу. Это было видно по тому, как он рассказывал. И все же он был недалеко от истины. Кокосы, бананы и бататы Миклухо-Маклай никогда на Новую Гвинею не привозил. Папуасы выращивали их с незапамятных времен. Но они не знали других культур: хлебное дерево, ананасы, апельсины, манго и мангустан.

С островов Океании на Новую Гвинею эти культуры впервые завез Миклухо-Маклай. Он научил туземцев выращивать также русскую тыкву, арбузы и кукурузу. Благодаря ему на острове появился и первый рогатый скот: коровы и козы. А что касается куриных яиц и вообще кур, то раньше папуасы их действительно не ели, хотя на Новой Гвинее диких кур водилось много. Когда Миклухо-Маклай в присутствии жителей деревни Горенду застрелил курицу, ощипал ее, зажарил на костре и тут же стал есть, обступившая его толпа была очень удивлена. Туземцы считали ценностью лишь куриные перья, из которых делали украшения. Им казалось, что в пищу годится только мясо свиней и собак.

Вот и цель нашего пути. Передо мною была хижина Маклая.

Не зная наперед, трудно поверить, что эту четырехугольную трехэтажную башню, высотой более пятнадцати метров, построили люди, по общему своему развитию все еще живущие в каменном веке. Кроме художественного вкуса и архитектурного мастерства такое сооружение требует сложного инженерного расчета.

Представьте себе три полых прямоугольника, поставленных друг на друга в виде пирамиды с уступами. Ширина первого прямоугольника четыре метра, второй — на шестьдесят сантиметров уже первого, а третий — на столько же уже второго. Толщина стен везде одинакова, сантиметров тридцать, но перекрытий между этажами нет. Второй и третий этажи поставлены на полуарочные выступы каменной кладки, как бы на внутренние карнизы. Никаких дополнительных опор нет, только карнизы, равные толщине стен. Кажется, этажи вклеены друг в друга.

В этом и заключается сложность постройки. Попробуйте без всякого математического расчета и понятия о сопротивлении материала возвести подобную башню, чтобы она не рухнула еще во время постройки! Между тем, колонизаторам, разрушавшим такие каменные хижины Маклая, приходилось применять взрывчатку.

Настоящая хижина Миклухо-Маклая по внешнему виду, конечно, значительно отличалась. Но она была такой же пирамидальной формы, как будто имела три крыши: первая спускалась с веранды, закрывая промежуток между верандой и нижним настилом (подполом), затем крыша над верандой и, наконец, покрытие самой хижины — три последовательных уступа.

У каменной хижины крыша уникальная. Она поднята над третьим этажом на восьми каменных столбиках, как беседка. Само покрытие — нанизанные на тонкие ротанговые прутья обломки морских раковин, глазурь которых лучится под солнцем всеми цветами радуги. А набежит облако, лепестки раковин, медленно затухая, становятся то розовыми, то бледно-розовыми, то почти совсем белыми... Красота неповторимая!

Внутри хижины ничего нет. Только в центре стоит высокая каменная тумба с углублением — очаг. Когда в нем проводят какой-нибудь обряд, на тумбе зажигают огонь.

Мы с Анди пытались расспросить Нагурдана, как строилась эта хижина.

— Каравату-таль тамо голанд барата, адим тамо роваро анде, — сказал он. — Бамбуковую хижину люди голланд жгли, мои люди делали эту.

Добиться от него большего было невозможно. На все наши вопросы один и тот же ответ:

— Каравату-таль...

То ли он не понимал, что мы от него хотели, то ли считал свой ответ достаточно ясным.

..День, как всегда в тропиках, оборвался внезапно. Полыхнуло лилово-огненным в просветах между пальмовой листвой, и сразу же, без закатной сирени и сумерек, вывездилось черный небосвод. Только облака словно бы заупрямились наступлению ночи. Еще полчаса назад искристые и сахарно-белые, как снежные шапки на высоких горах, они как будто нехотя переливали сухую белизну и текучее серебро. Плаваясь, серебро алело и на бегу застывало, темнея под черным бархатом неба, как медленно густеющая кровь. Безмятежные, степенно важные днем, облака, казалось, встряхнулись, наконец, и, убегая от побеждающей ночи, заспешили следом за солнцем. Но навстречу им, отважно рассекая тучи-волны, уже мчалась перевернутая золотая пирога луны.

В деревне все шло своим чередом. Люди зажигали костры, готовили ужин.

Мне верилось и не верилось. Сбылась мечта моего детства: я — среди папуасов.

С неизъяснимой тревогой и затаенно-томительным нетерпением я ждал новых открытий...

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ

А что за этой

Эмилия
БОЯРШИНОВА

Рисунки В. Меринова

Стихи о первой любви

Я иду на свидание —
На свидание с тобой...
В Море Воспоминаний
Остров есть дорогой:
За волной белопенной,
Наяву, не во сне, —
Все как в послевоенной,
Нашей первой весне...

Я иду, не похожа
На других... Как в кино.
Что я знаю — проходим
То узнать не дано.
Только мы нашу тайну
И назвать не смогли...
Ночи белые тают,
Не касаясь земли.

Я иду на свидание, —
На свидание к тебе:
По мосткам деревянным,
По зеленой тропе,
Мимо глаз, мимо окон,
Сквозь людской коридор,
Под звездой высокой —
Все иду я с тех пор.

Бой — так за Правду —
В главном и малом,
За Человека,
За идеалы.

Не представляю
Битву иную...
Ловкость и хитрость —
Тоже воюют:

Ради карьеры,
Ради наживы,
Ради химеры —
Славы фальшивой,

Дачи при саде,
Власти ли ради...

В этих баталиях
В их окружении
Вроде терплю я
Опять поражение.

Но все же ловким
И хитрым — не ведать,
Как торжествую свою
победу:

Вынесла с боем,
К бою готовясь,
Все, что со мною, —
Чистую совесть!



Карадаг

Седые, угрюмые, дикие
горы

Не любят гостей
И пустых разговоров.
И попросту терпят
Нахальных туристов,
Которые лезут, цепляясь
за выступ,

А после с вершины
взирают на море
И думают:
Стал Карадаг им покорен.

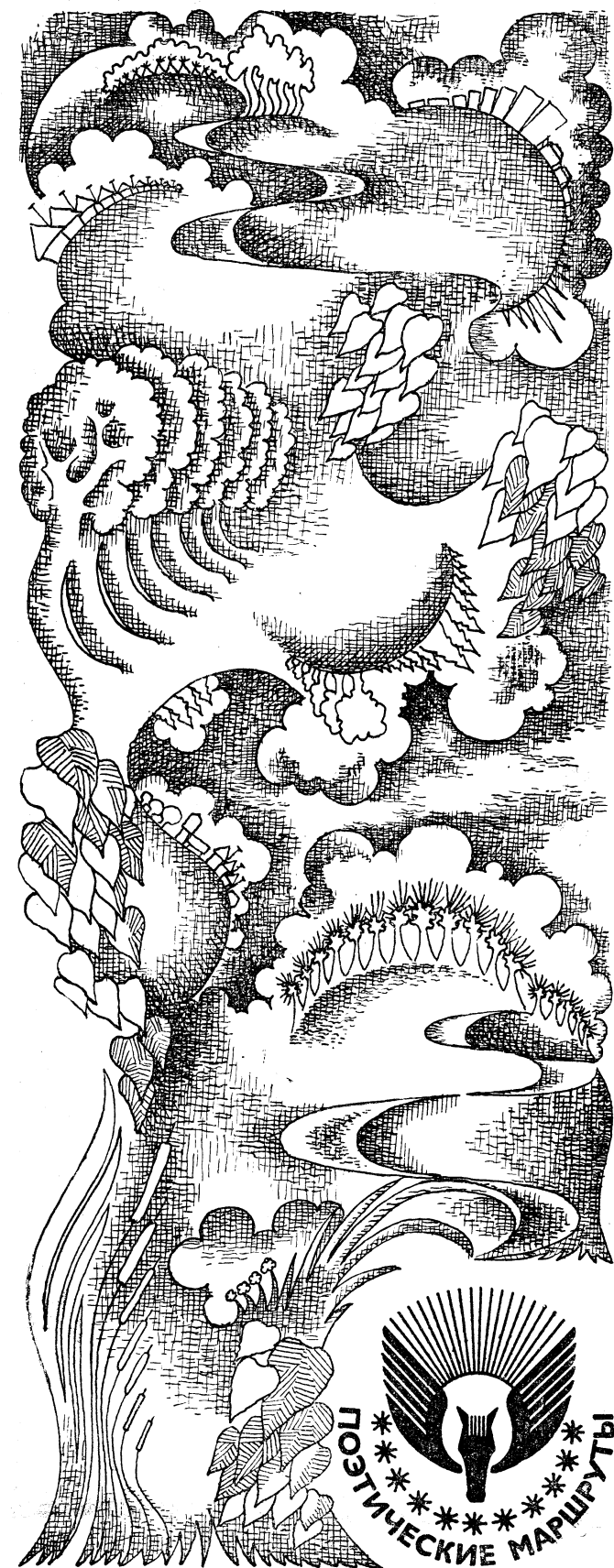
Но люди уходят,
а он остается.

Он вслед уходящим,
Как демон, смеется,
Грохочет обвалом
И эхо разносит
Заключая, которые
он произносит.

Недаром он Черной горой
зывается.

Столетия уходят,
А он остается.
Непонят, угрюм, одинок,
непокорен...

И знают его
Только небо да море.



рощей?

Моя школа

Издали только гляну я:
Снова, как прежде, ждет
Школа моя деревянная
С окнами на восход.

Милая, поседевшая,
Старенькая на вид,
Под небесами здешними
Тихо она стоит.

Седенькою учительницей
Вышла на бережок...
Сколько она значительного
В памяти бережет!

Первая школа в Лѳменде,
Каждого из птенцов
Помнит она по имени,
Знает она в лицо.

Все сохранила, верная:
Первые буквы твои
И — только ей доверенную
Тайну первой любви.

Помнит будни и праздники,
Горькую тишину —
Как ушли старшекласники
На большую войну...

Школа моя весенняя,
Словно цветущий сад:
Новые поколения,
Новые голоса...

Помнит она, бессонная,
Нежность прощальных дней:
Юные, окрыленные,
Мы расставались с ней.

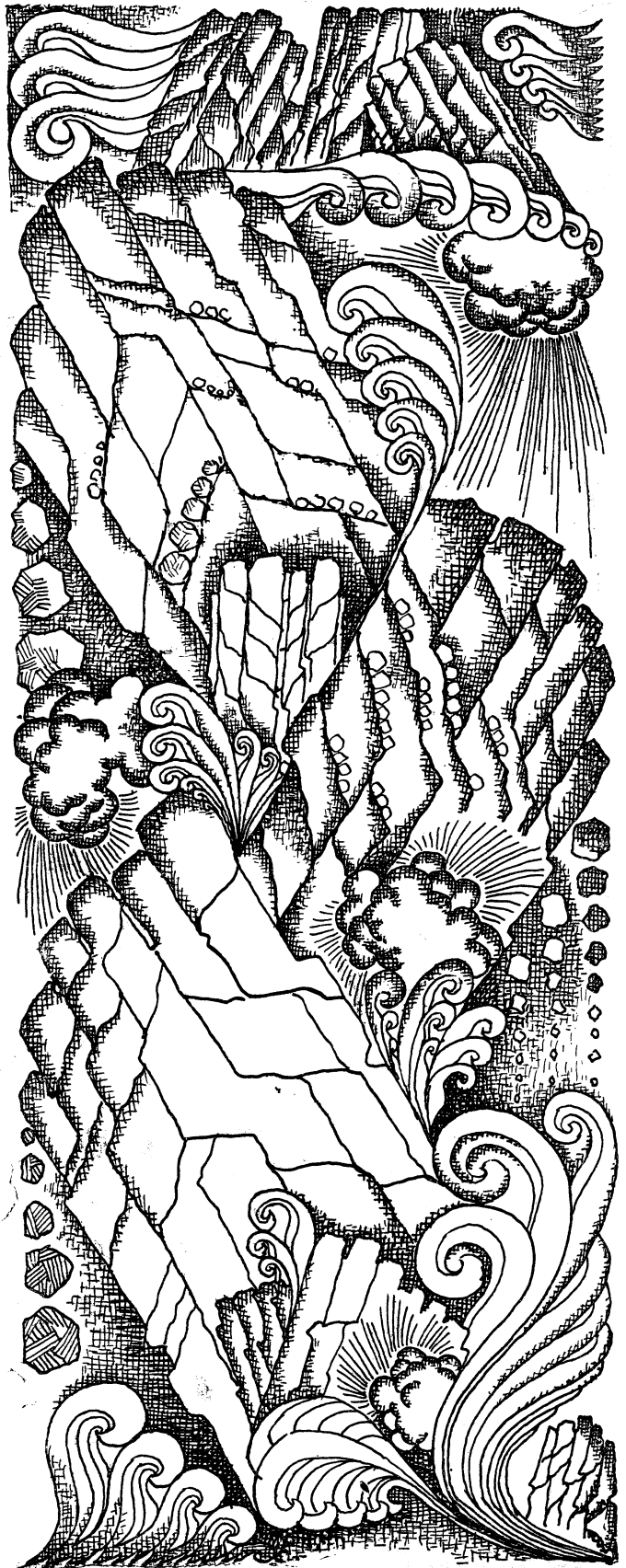
В сердце ее навечно ты.
Детство наше храня,
Стены ее бревенчатые
Помнят тебя и меня.

Снова вхожу в эти стены я,
Нежности не тая...
Школа моя незабвенная —
Учительница моя.



А что за этой рощей? —
Тропинка к тихой речке...
Нет ни моста, ни лодки —
Заброшенный паром.
А если переехать? —
Туман. Высокий берег.
И через лес — дорога...
Вот так мы и идем.

А что за этим взглядом?
А что за этой встречей?
Как слово отзовется?
Что станет потом?
А если ошибешься?..
Печаль. Разлука. Радость.
Все впереди. Все — тайна...
Но так мы и живем!



ЧИСТЫЙ СЛЕД ГОРНОСТАЯ

Повесть

Лев
КУЗЬМИН

Рисунки
Н. Мооса

Каравай

Раньше о рабочей жизни я думал: ну, что там особенного? Вовремя проснулся, вовремя явился, честно отработал, и — до свидания! Какие такие могут быть заковыки? Но получилось иначе. Теперь получилось так, что и прибежать-то ко времени в мастерскую для меня беда.

Я привык уже подниматься в любое время сам, но теперь ни разу не мог толком выспаться. Всю ночь я вроде бы сплю и вроде не сплю. Все жду, когда будет половина шестого — мой обязательный подъем.

При таком сне-полусне я отдохнуть не успевал, а нашу жестяную кошку-ходики прямо-таки возненавидел. Лишь открою глаза, протяну руку, включу свет, а она зыркает, будто дразнится: «Я ни капли не дремала, а, смотри — веселая».

Мне так и хотелось трахнуть ходики подушкой. Да что толку? Лучше о часах не думать, лучше думать о том, какой я ужасно одинокий, обманутый друзьями, но и все равно — ужасно сильный человек.

И вот скидываю одеяло, наспех одеваюсь, топаю босиком к печке, достаю валенки, и с этой минуты начинается мой рабочий день.

Выскакиваю из домашнего тепла в зябкую тьму улицы. С разбегу, прихватывая голыми руками снег, набираю охапку дров и лечу с ними на кухню. Я громыхаю чугунами, растапливаю печь, чищу картошку, несу очистки в козий сарай, и все — бегом, бегом. А затем на скорую руку завтракаю, на клочке газеты пишу печатными буквами для Наташки памятку и — ухожу.

Передо мною сумеречная даль, перевитая ночью метелью дорога. По ней надо пробежать три километра, а там, как попал в мастерскую, тут же за работу. Мои новые товарищи тоже — как в дверь, так сразу и к верстакам. И вот слышишь: тут запошаркивал рапшиль, там зарокотала ручная дрель, а там запостуки-



Окончание. Начало в № 10.

вал по зубилу быстрый молоток. Ночной передышки будто и не было. Будто никто и не уходил.

Каждое утро, когда уже все разберут инструмент, Полина Мокиевна медленно подходила к стене, где чернела тарелка репродуктора, и, поймав шнур со штепселем, оборачивалась к нам и как бы говорила: «Ну, товарищи, что-то сегодня услышим...»

Она медленно, словно боясь, словно не решаясь, включала репродуктор, и суровый, жесткий голос диктора врывается в мастерскую.

Бои с фашистами шли уже у самой Москвы, они шли весь ноябрь, и о переменах к лучшему пока не слышно было.

А наша работа в мастерской тоже становилась все напряженнее. Павел Маркелыч и рта не давал никому раскрыть, погадать вслух, что будет, если фашисты прорвутся. Он просто не верил в это. И хотя зима еще только началась, твердил о весне:

— Душа из нас вон, а к первому теплу — всю технику на колеса! Мы тут не харчи переводить поставлены, а фронт подпирать. Я так понимаю: нагрянет весна, и каждый наш трактор в поле будет, как танк в бою... Чувствуете?

— Чувствуем! — хором отвечали мы.

— Ни черта вы не чувствуете. Димка Сидельников да Вовка Пронин ушли вчера в столовую и прохлаждались там сверх положенного двадцать минут. Киселя ждали. На сахарине! Клюквенного! И какой это дьявол сказал им, что кисель будут давать? Это ты, Юрка, придумал?

Юрка делал невинное лицо, отворачивался.

— Не отворачивайся. Все равно знаю, каков ты гусь. Веньке Макушкину кто петушиное перо в штаны вставил? Не ты? В кузницу за махрой кто бегаешь? Не ты? Смотри, Юрка, доберусь я до тебя! Сниму с нарезки гаек, пошлю варить радиаторы...

Но снять Юрку с нарезки мастер не мог. Гайки нарезались вручную, они требовали навыка, требовали твердой руки, и нарезать их лучше Юрки мог только сам Пыхтелыч. А вот меня на моем деле мог бы заменить каждый. Проще и хуже моей работы была только та, которой мастер пугал озорников. Варить радиаторы, а точнее — вываривать из них накипь, надо было на улице, на холоду. Причем возиться приходилось с едким раствором каустической соды, разъедающим не только твердокаменную накипь в медных тонких трубках радиатора, но и одежду, и обувь, и кожу на руках.

И я старался. Старался так, что даже в кузнице за всю первую неделю не побывал ни разу. Но зато полностью пришлифовал один мотор, и мастер посулил: «Сделаешь второй — поставлю нарезать болты». А нарезка болтов — это уже, считай, повышение! Это несколько не хуже Юркиных гаек, и я торопился, нажимал на коло-

ворот. Нажимал так, что даже Юрка сказал: — Смотри, в Америку дырку провертишь.

Работа пошла веселей еще и потому, что в нашем доме стало чуть сытнее. На то время, пока я хожу в учениках, Полина Мокиевна хлопотала для меня колхозную стипендию: полмешка ржаной муки. Мука была серая, не сеяная, на треть из отрубей. Но я не променял бы ее ни на какую другую. Это был мой первый заработок. И когда я привез его на санках домой, то долго сидел перед мешком на кухне, все пересыпал мягкую, теплую муку в ладонях.

Но по-настоящему я порадовался лишь тогда, когда мы с ребятами заварили из муки ржаную кашу, и сели вокруг чашки за стол. Я сидел, смотрел на Шурку с Наташкой, на их мелькающие ложки и думал: «Проживе-ем! Теперь-то проживем...» А чтобы совсем был пир, я решил испечь каравай. Пусть, думаю, хоть раз малыши наедятся хлеба вволю, да не какого-нибудь, а моего — трудового.

Стряпать я начал поздно вечером, когда ребята легли спать. Муки извел фунта полтора. Весь перемазался в тесте, но когда, наконец, задвинул сковородку в горячую печь, то оттуда пошел такой аппетитный дух, что я зажмурился и покрутил головой.

Сел напротив печки, стал глядеть на заслонку и ждать. Сижую, жду, а в кухне пахнет все сытнее, а дом наполняется запахом печеного хлеба все сильнее. И тут, слышу, за переборкой в спальне скрипнула кровать, и — топ-топ-топ — застучали по полу босые пятки. Я оглядываюсь: в кухню заявляется Наташка, за Наташкой шлепает полусонный Шурка.

— Ой, — говорит Наташка, — пирогами пахнет. Я проснулась и думаю — мама приехала.

— Я тоже думал, что мама... — сказал Шурка, влез на скамейку и притих рядом со мной. Наташка пристроилась по другую сторону, и я им обоим говорю:

— Сейчас, ребята, каравай будет. Вкусный, как при маме...

Заговорились, а тут и каравай напомнил о себе: горелым запахло. Я схватил кочергу и, открыв заслонку, вытянул сковороду из печного нутра.

Тяну и глазам не верю. На сковороде вместо каравай черная лепеха, и от нее столбом валит синий дым.

Шурка заревел, а Наташка вздохнула:

— Эх, Леня... Муки-то сколько перевел. В больницу маме что повезешь?

— Не бурчи!.. Идите-ка спать! На печку. Нынче печка вон какая теплая... Зря топил, что ли?

А на самом исходе ночи я услышал громкий стук. Кинулся открывать дверь. Одной рукой скидываю крючок, другой включаю свет, а Валериан Петрович уже на пороге. Быстро вошел

в дом, впустил за собой холод, застучал мерзлой обувью, захлопнул за собой дверь, обернулся, — ну, вылитый дед-мороз!

Шарф и шапка у него заиндевели, иней तोпорщился вокруг губ, словно борода, и даже на бровях иней и на ресницах иней.

— Ой, Валерьян Петрович, откуда вы?

— Погоди, Ленька, сейчас... — просипел он простуженно, скинул прямо на пол рукавицы и стал искать на подбородке завязки шапки. Ищет, а пальцы не гнутся и все не могут ухватить узелок.

— Ну-ка, дерни, — подставил он подбородок, и я дернул узел, и шапка развязалась. Он скинул ее, размотал шарф, утер ладонью лицо, и борода исчезла. Только нос так и остался ярко-розовым, а толстые щеки словно натерты свеклой.

— Уф, — говорит, — теплота у вас какая, прямо Африка!

— Откуда вы? — снова спрашиваю.

— Откуда? — глаза Валерьяна Петровича хитро прищурились, озябшие, лиловые губы разошлись в улыбку. — Чуть не с того света, Ленька. С тормозной площадки.

— Как так?

— А так... В управленье дорожных школ ездил, тетради добывал. Тыщу штук достал! А домой ехать не на чем. Вот и занесла меня нелегкая к охраннику на товарняк, на тормозную площадку. Ох, и наплясался я, Ленька, — всю жизнь так не плясывал!

«Ну, думаю, отогреть человека надо». Шмыгнул на кухню, зазвенел о ведро ковшом, загремел самоваром, а Валерьян Петрович кричит:

— Не надо! Я на минуту. Я вам от мамы поклон привез.

Чуть не обронил я холодный самовар на ноги, бросился обратно:

— Правда?

— Почему же не правда? Вот, пожалуйста, доказательство. — Валерьян Петрович распахнул пальто, а там у него перепущен через плечо шнур, и на шнуре плоский пакет в белой тряпке. Он положил пакет на стол, а с печки раздался Шуркин голос:

— Гляди, Наташка, гляди!

Валериан Петрович привстал на носки, заглянул на печку.

— Проснулись, главные жители?

— А мы давно проснулись. Мы давно все слышим, — сказали ребята и полезли с печки.

И вот мы с Наташкой теребим гостя, спрашиваем: «Как мама? Когда придет?», а Шурка давит ладошкой пакет, говорит: «Там хрустит что-то».

— Не знаю, что хрустит. Сами посмотрите. А мама ваша идет на полную поправку, и тебе, Ленька, от нее особый привет и благодарность.

— А мне? — говорит Шурка.

— Тебе в первую очередь.

— И мне? — спрашивает Наташка.

— И тебе... Недельки через полторы ваша мама вернется...

Валерьян Петрович хотел еще что-то сказать, да тут Шурка радостно пискнул: «Ой!» Наташка тоже: «Ое-ёй!» Я обернулся и вижу: пакет они распорол, а из пакета... сыплются сухари!

Сухарей много. Целая горка. Ребята изумленно потрогали их, а потом запрыгали от радости.

— Мама хлеба прислала! Мама хлеба прислала!

А у меня сердце сжалось.

— Ей ведь самой есть надо, чтобы поправиться. Зачем вы взяли-то, Валерьян Петрович?

А тот плечами пожимает, в глазах удивление.

— Так ведь не знал же я! Она без меня пакет зашивала. Объяснила, одно бельишко там... Мне идти надо, Леня. У меня в дежурке на вокзале тетради остались. Я к вам завтра зайду.

Он взял шапку, направился к двери, я пошел его провожать. У порога он остановился, глазами показал на стол, на сухари, на притихших ребят и произнес:

— Маме твоей, Ленька, цены нет... Помни об этом всю жизнь.

Темные дороги

К своей новой жизни я стал уже привыкать, не мог лишь привыкнуть к дороге на работу, потому что приходилось идти в потемках одному. О гордом одиночестве, о том, как я докажу Тоне и Женьке, что мне хорошо и без них, легко думалось дома на теплой кухне или в мастерской, а вот в ночном поле было не очень-то уютно и даже тоскливо.

Боялся я волков. О них, что не зима, расходились по всей округе страшные слухи. Тут они, слышишь, проломил на колхозной ферме старую крышу и вырезали овец; там они повстречали на ночной тропе деревенскую учительницу, и остались от этой учительницы лишь раскиданные по снегу школьные тетради.

Однажды утром Павел Маркелыч спросил:

— Чай, боишься один через поле бегать?

Я сознался:

— Боюсь... Волков боюсь. Они, говорят, учительницу задрали.

Старик презрительно махнул рукой:

— Выдумки! Это люди со зла навесили на волков. В отместку за овец, за телят... Вот эту живность, если сторожа растяпы, волк берет — это точно. А человека — нет. Человека он сам боится. Да что тот волк! Нынче двуногие волки-то появились.

— Двуногие? Вы о ком?

— О Миньке. О бывшем твоём соседе. Вот волк так волк. Не трусцей по суметам, а с ножом да на лыжах... Не зря в народе говорят: на волка помолвка, а пастухи шалят.

Сказал он это, глянул поверх очков, а у меня даже колени ослабли. Я думал, про Миньку-то все давно позабыли, а он — опять! Я глаза в сторону и говорю:

— Где же он их взял?

— Что взял?

— Да лыжи...

— Украл где-нибудь. Сегодня его под утро чуть-чуть не накрыли. В здешней овчарне замок ломал. Кузнец услышал. Он у нас ни свет ни заря на работу ходит. Кинулся к овчарне, Минька — от него. Кузнецу, лешаку, не шуметь бы. К нам бы, в общежитие, потихоньку. Мы бы Миньку-то сообща враз накрыли. А он, дьявол одноглазый, сам кинулся... Да где ж ему!

— А следом почему не пошли?

— Пошли! Но откуда пошли, туда и вышли. Минька — зверь опытный. Дал круг, всех запутал, а сам по зимникам, по накатанным дорогам — шаст в леса, да там и канул. Он, волчи-

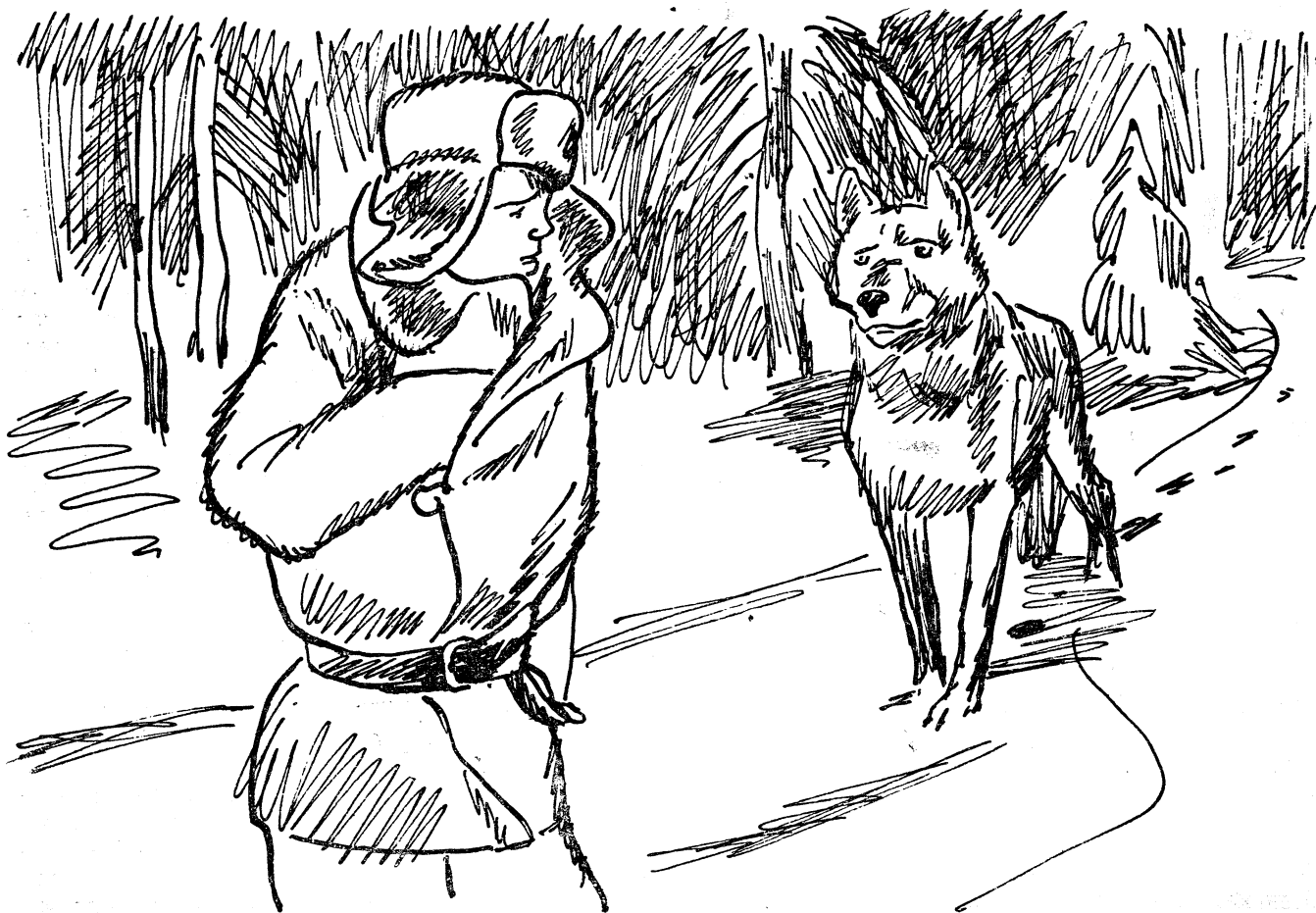
на, знает: рабочим людям по лесу бегать некогда, а милиции на весь край — полтора человека. Разве что из области пришлют.

Пыхтелыч говорит, я слушаю и чувствую, чем дальше, тем больше грызет меня совесть. Надо бы мне признаться, что лыжи у Миньки наши, что есть на этих лыжах приметная бороздка. В общем, я стою, маюсь, а старик говорит:

— Что ёжишься? Напугал я тебя? Наплюй, не бойся. И волков не бойся, и Миньки не бойся. Минька молодец против овец, а против молодца и сам овца. Оттого и в дезертиры подался. Он теперь год на здешних дорогах не покажется, если не изловят, да под наганом не поведут... Бояться тебе нечего, помяни мое слово.

Так и не сказал я ничего мастеру про лыжи, но слово его помянул скоро.

Накануне выходного дня подошла к концу и работа над вторым мотором. Над тем мотором, за который мне было обещано повышение. Я думал, с ним управлюсь часам к восьми вечера, а провозился допоздна. В мастерской в это время оставались лишь пожилые рабочие, и Павел Маркелыч все выпроваживал меня:



— Иди, иди. Завтра доделаешь. Ты ведь у нас семейный. Вроде как отец-одиночка...

Дорога от села идет везде по чистому полю и только в одном месте к ней примыкает лес. Тут невысокий холм, и когда на него поднимаешься, считай, ты дома. Бегу я по дороге, думаю обо всем и вдруг вижу: катит на меня какое-то мутное пятно, живое, прямо ко мне. И тут я со страху остолбенел.

Пятно надвигается, растет. И вижу я, что это будто бы собака. И начинаю понимать: это волк! Понимаю, и не могу шевельнуться.

А волк все ближе. Бежит торопливой трусцой, опустил голову, и вот, когда между нами осталось всего ничего, он встал, замер и поднял узкую длинную морду. Я хорошо разглядел мощное, спокойное тело его, приспущенный хвост и острые уши над крупной головой.

В нем не было ни страха, ни злобы ко мне. Было в нем только удивление: что, мол, за пень такой на пути объявился?

И тут страх начал меня отпускать. Не то что бы совсем, но я почувствовал, что могу вздохнуть. Вздохнул так, что даже всхлипнул, и волк вскинул голову еще выше, словно вот тут-то и увидел меня.

А потом он в один мах перескочил дорогу и по-прежнему ровно, спокойно потек по снежной целине. Я еще успел увидеть его скользящую тень на опушке леса, а затем его скрыли снег и деревья.

Пришел я в себя возле собственного дома, и как долетел до него, не помню. Я долго стоял на крыльце, отпыхивался и думал: «Прав был Павел Маркелыч — волк человеку не страшен. Да только не страшен-то он тогда, когда ты стоишь уже дома на пороге и держишься за дверную скобу».

Кораблик

В дом я вошел тихонько, думаю, ребят бы не напугать, а они сами как бросятся ко мне, да как закричат:

— Мама! Мама!

И тут у меня опять все оборвалось, и я тоже закричал:

— Что, мама, что с мамой?

А они, дурачинушки, захохотали, запрыгали вокруг:

— Ага, испугался, испугался! А мы чего-то знаем! А наша мама скоро домой приедет.

Насилу я добился от них толку. Оказывается, заходил Валерьян Петрович, он дозвонился сегодня до больницы, и с ним разговаривала сама мама и обещала вот-вот выписаться. А еще он передавал, что станционное начальство посулилось дать лошадь, и надо загодя, пока невелик

снег, приглядеть проезжий путь к делянке, к дровам.

От таких новостей я и сам выкинул коленце. Как был в пальто, в мокрых валенках, так и пошел по всей комнате отбивать чечетку. Шурка — руки в растопырку — пошел следом за мной, а Наташка закричала:

— Ленька, сумасшедший! Ты хоть валенки-то свои черношлепые сними... Не видишь разве, какие у нас нынче полы? Чистые, намытые!

Валенки мои были теперь и в самом деле, как у заправского тракториста. За эти дни в мастерской я так их отделал, что из сереньких они стали черненькими. Я снял их, закинул на печку, встал босыми ногами на чистый, еще немного влажный пол и спросил Наташку:

— Кто-нибудь из маминых подруг приходил?

Наташка заулыбалась, заложила руки за спину:

— Вот и нет! Угадай, кто...

А Шурка сразу выпалил:

— Пришла Тоня, сказала, что сегодня какой-то день вроде праздника, и все надо сделать, как в праздник. Какой у тебя, Ленька, сегодня праздник?

— Какой праздник? — спрашиваю я Наташку.

— Сам знаешь какой... Вместо маленькой работки тебе сегодня побольше, поглавнее работы дали. Сам же вчера об этом говорил, а я в школе Тоне рассказала.

Ну, тут уж я совсем возликовал. Надо же! Я-то, глупый, на Тоню дуюсь, а она — вон как! Она праздник для меня придумала. Насунул я Наташке на голову свою шапку и весело сказал:

— Молодец, Наталья! За помощь по хозяйству благодарность тебе в письменном виде, в приказе!

Наташка расцвела еще больше, потянула к окну:

— Посмотри, что мы еще придумали... Нравится?

По всему окну разбежались голубые плоские фигуры. Девочки вырезали их из тетрадных обложек и приклеили прямо к стеклам. Были тут острроверхие елки, огромные сквозные снежинки, и был тут парусный голубой кораблик с вымпелом на мачте

— Корабль Тоня вырезала. Она сказала, что он точно такой, как в Ленинграде на одной высокой башне. Правда, красиво? А днем будет еще лучше... Завтра утром Тоня опять забежит.

Чувствую — хорошо мне. Потрогал я на стекле, в самом низу, какую-то округлую, замусоленную нашлепку, спросил:

— А это что? Огурец?

— Сам ты огурец, — обиделся Шурка. — Разве не видишь, это колобок? Это я сам вырезал!..

Хорошо мне было в тот поздний вечер. И хотя я наработался за день крепко, да и после встре-

чи на дороге с лихвой сдал, наверное, не одну норму ГТО по бегу, а все равно, скажи мне кто-нибудь сейчас: «Пошли, Ленька, землю копать, камни ворочать!» — я бы пошел, не задумываясь. Настроение у меня было такое, что я не знал куда его девать. И это все из-за того, что Тоня приходила к нам и придумала для меня праздник. А, может, дело совсем и не в празднике, а в чем-то совсем в другом. А в чем «другом» — я объяснить и сам себе не могу.

Конечно, если бы с кем-нибудь сейчас поделиться, хотя бы, например, с Юркой, то он бы, конечно, окинул меня презрительным взглядом и наверняка бы сказал: «Ну, ясно! Влюбился. Теперь стишки еще будешь сочинять». Но «влюбился» — не то слово. Совсем не то. Да и вообще это слово мне не нравится, а вот стихи сочинять для Тони я и в самом деле был готов.

Но сочинять я не умел. Правда, во мне что-то такое пело и звенело сейчас; во мне словно бы звучала какая-то ласковая песенка, но когда я взялся за перо и попробовал эту песенку записать, то получилась одна сплошная чепуха. Сколько я не бился, из-под пера выходило только: «Ах, Тоня!..», «О, Тоня!..», «Эх, Тоня!..».

Не хватало еще написать «Ух, Тоня!», тогда совсем бы получилось, будто я колю дрова и приговариваю: «Эх! Ах! Ух!»

Я и в самом деле измучился так, словно переколот поленицу. Да что там поленицу — клапана шлифовать в мастерской и то было легче, чем писать стихи. Я, стараясь не потревожить угомонившихся на печи ребят, ходил тихо из угла в угол комнаты и придумывал строчки.

Вдруг меня словно осенило. Из-под пера на бумагу легко и сразу легло четверостишие:

Развернись, гармоника, по столику...
Я тебя высоко подниму!
Выходила тоненькая, тоненькая —
Тоней называлась потому...

Нет, это чудо-чудесное придумал не я. Где уж мне! Это я вспомнил строчки из книги, которую давным-давно листал в комнате Валерьяна Петровича. Вспомнил всего лишь навсего четыре строчки, а вот стихотворение целиком и фамилию поэта вспомнить не мог.

Но я рад и этим четырем строчкам. Я чувствовал себя так, словно вот только что тихо и долго плакал, мучился и вдруг увидел яркое солнышко. От этих стихов мне было легко-легко.

Я подошел к окну и на голубых парусах Тониного кораблика вывел все четыре строчки. Придет завтра Тоня, глянет и удивится:

— Ой, откуда здесь такое?

А я тоже удивлюсь и отвечу:

— Не знаю, не знаю... Кораблик не я вырезал...

Вот так-то!

Наступило утро выходного дня и, чуть забрезжил рассвет, я уже был на ногах. Мне хотелось поскорее увидеть Тоню. Я хотел ее позвать с собою в лес. Дорогу к дровам надо было разведать сегодня же, а то если и в самом деле дадут лошадь, то, конечно, ненадолго.

Перво-наперво я управился по дому, а межделами нет-нет да и поглядывал в окно. Я даже Наташку замучил одним и тем же вопросом:

— Так, говоришь, Тоня с утра обещала прийти?

— С утра, с утра, — кивала Наташка, а сама по случаю моего выходного дня разложила на столе цветные лоскутья, собиралась наряжать куклу. Наконец Наташке я надоел, она обернулась и говорит:

— Вот пристал. Если тебе надо, так сбегай к Тоне сам, да сам у нее и спроси, когда она придет.

Я так и сделал. Я постоял у окна еще минуты две-три, подумал: «Проспала, наверное, Тоня...», и побежал к Бабашкиным.

Двор Бабашкиных за прошлую ночь побелел еще больше, но крыльцо и дорожка к нему старательно расчищены. Наверное, печник встал ни свет ни заря и, пока старуха готовила завтрак, ровнехонько, словно по шнуру, разгреб весь ночной снег деревянной лопатой. Делал он это, должно быть, не спеша. В темноте покашливал, освечивал огоньком сигарки, покряхтывая, нагибался, отбрасывал в сторону щепки от пронесенных тут вчера дров, — словом, разминал косточки перед длинным трудовым днем.

День этот у печника побольше, чем у путейских рабочих. Раньше под его надзором состояли только казенные дома, а нынче и все хозяйские избы перешли под его руку. Печное мастерство — очень мужское дело. Женщины да ребяташки в нем не разумеют. И вот ходит печник по солдатским домам и, где пришла в том надобность, чистит, подмазывает, подправляет печи и дымоходы. Делает он эту работу по вечерам; после той, что назначена ему начальством, и никакой платы за нее не берет.

Злая на язык Анна Федоровна, я знаю, говорит про печника:

— Это он на старости лет решил безбожие свое замолить. В святые угодники собрался. Да только бог ему прошлого безбожия не простит, и господней благодати ни печнику, ни его старухе не выдывать...

Бог у Анны Федоровны получался весь в самою Анну. Но не в нем было дело. Бабашкиным Анна Федоровна просто-напросто завидует. Завидует, что вокруг стариков всегда люди, а вокруг нее — никого. Утешительных, бесплатных

слов она может наговорить людям много, а сделать для них что-либо — не пошевелится. У Анны-то Федоровны зимой снегу не выпросишь, а вот у Бабашкиных все иначе. Они сладкие речи вести не умеют, а если кому нужна вырочка, то, пожалуйста!

Даже тропку к дому печник разгребает по утрам так широко и чисто, словно каждую минуту ждет гостей. «Милости просим, кто бы ты ни был, званный, незванный, а заходи!»

Я хлопнул калиткой, промчался по разметенной дорожке, взлетел по крутой лестнице в сени Бабашкиных и сразу распахнул дверь.

Я влетел туда радостный и стремительный, да только тут же и осекся.

Влетел туда чуть не с песней, со всей открытой душой, да только тут же и свял.

Тоня-то, вижу, про меня и думать позабыла. Сидит она себе за столом на чистой половине избы, перед нею разложены бумаги, стоит чернильница, а рядышком с Тоней посиживает Женька. Вот так-то!

Ну, ладно. Посиживают и посиживают — это их дело. Это я еще стерпел бы. Но только я в дом, а Женька — хлоп! — закрыл бумаги газетой, а Тоня — руки на газету, и смотрит на меня растерянно.

Я даже здороваться не стал. Я им сразу говорю:

— Секретничаете?

— Секретничаем.

— От меня?

— От тебя, — отвечает Женька и нахально улыбается.

— Ну что ж... Мое вам с кисточкой! Продолжайте в том же духе, — говорю я и поворачиваю назад.

Тоня спохватилась, шепчет:

— Давай, Женька, скажем. Он ведь рассердился.

А Женьке хоть бы хны. А Женька ухмыляется — рот шире ворот.

— Пускай. Пускай посердится. Ему не привыкать. Да это и ненадолго.

— Надолго — ненадолго, дело не твое... Может, навсегда, — сказал я и так грохнул дверью, что загудел весь дом. И где-то со стены загремел и покатился по полу железный таз.

Я побежал вниз по лестнице, Тоня выскочила за мной:

— Леня, погоди. Мы же пошутили.

На крыльце она ухватила меня за рукав, а я уже ничего не понимаю. У меня от обиды в голове тьма. И тут произошло то, чего я сам не ожидал. Я толкнул Тоню. Я закричал:

— Пошутили? Ничего себе, пошутили! Иди, дальше дошучивай!

Нет, я не ударил Тоню. Я просто вывернул из ее пальцев рукав и отпихнул ее от себя. Но все равно вышло так, словно толкнул.

Я сразу увидел, какими вдруг стали Тонины глаза. Они стали огромными и жалостными. И тут уж ничто не могло меня остановить. Я в два прыжка долетел до калитки, выскочил на улицу.

— Послушай! — донеслось вслед. — Мы сейчас к тебе приедем!

— Нечего слушать, нечего ходить. Иди сама слушай своего Женьку!

Когда я прибежал домой, Наташка даже испугалась:

— Ты что такой весь бледный?

— Ничего не бледный. У тебя резинка есть?

— Есть. В пенале.

— Дай!

Я схватил резинку, подбежал к окну, стер с корабля стихи, но после этого мне стало еще хуже. Я посовался из угла в угол, походил по комнате, потом говорю Шурке с Наташкой:

— Идите гуляйте, а я схожу в лес. Обед в печке, пообедайте без меня.

— А ты скоро вернешься?

— К вечеру вернусь. Делянку найду и вернусь.

— Только один не ходи. Смотри, в лесу страшно.

— Я ребят позову. Идите, идите...

Но ребят я звать не собирался. Конечно, вместо Тони и Женьки я мог бы созвать целый отряд — мало ли на станции мальчишек и девчонок, — да только никто мне теперь был не нужен. Никто!

Мне и о самом-то себе было думать тошно.

Белые маскхалаты и высокие ели

Собрался я быстро. Забежал на кухню, взял свой обеденный и вечерний хлеб, взял кремень и обломок напильника, которыми теперь пользовался вместо спичек, рассовал все это по карманам и вышел из дома. Но на крыльце затоптался и повернул назад. Я решил взять с собою отцовское ружье.

Отец, уходя в армию, наказал маме ружье беречь, она спрятала его под замок, а ключ убрала в комод. Но теперь в доме хозяином был я и до ружья добрался быстро. Оно висело в холодном чулане — одноствольное, легкое, с винтовочным затвором.

Я снял ружье со стены, клацнул затвором, прислонил ружье к стене, стал искать патроны. Но сколько я ни рылся на полках, патронов не было. Видно, отец отдал кому-нибудь из охотников. Может быть, Бабашкину.

Но все-таки один патрон я нашел. Он торчал в запрятанном под пустую кадучку стареньком патронташе. Чем был заряжен патрон: дробью

ли, картечью ли, я узнать не мог — под пыжом заряда не угадаешь. Но я все равно сунул патрон во внутренний карман пальто. У берданки был слабый спуск, и заряжать ее загодя я побоялся.

Снег с ночи так и не переставал. Он расходился все пуше и пуше, но было по-прежнему тепло и безветренно.

На переезде полосатый шлагбаум был закрыт. Со станции на главный путь выходил воинский эшелон. На той стороне пути возле стрелочной будки стояла тетка Евстолия. Она держала в руке свернутый желтый флажок, словно готовилась им отсалютовать эшелону.

А поезд нарастал. На полном ходу длинный паровоз пролетел между нами. Он скрыл стрелочницу, обдал меня сырым облаком пара, оглушил грохотом и свистом, а за ним, прогибая рельсы и заставляя подрагивать мерзлые шпалы, замелькали вагоны и платформы. На платформах, укрытые брезентом, горбатились тяжелые танки, торчали спаренные для зенитной стрельбы пулеметы, а в полуоткрытых дверях вагонов молча теснились красноармейцы.

Я смотрел на них и думал: «Вот бы сейчас, когда мне так горько и одиноко, увидеть отца». Умом-то я понимал: отца здесь нет. Я знал: отец мой давным-давно там, куда эти люди еще только спешат. А вот сердцем все равно думалось: «А вдруг?..»

Но если бы отец и стоял здесь, то вряд ли бы я успел его узнать. Слишком быстро пролетали вагоны, слишком одинаковыми казались мне эти хмурые люди — все в одинаковых военных одеждах, перепоясанных ремнями.

И еще одно, тоже общее, бросалось в глаза. Почти все они теперь — в белых маскхалатах, все с оружием. Прежде, в летних эшелонах, с оружием стояли только часовые у пулеметов и пушек, а теперь вот каждый боец держит его при себе. И по этому оружию, по нахлобученным на шапки белым башлыкам было видно: только домчится эшелон до места, и тут же пойдут эти люди в бой. Пойдут сразу, безо всякой передышки. Они готовы к тому. Они знают: пути им осталось всего лишь несколько часов, фронт от нашей станции был не так уж далек.

Воинские эшелоны проносились теперь через нашу станцию день и ночь, про них у нас говорили: «Сибирь двинулась. Скоро, очень скоро что-то произойдет».

Но вот поезд прогрохотал, и опять я стою один, и никого рядом со мной нет. Лишь маячит одиноко на той стороне стрелочница и тоже смотрит вслед вагонам. Потом она опустила флажок, повернулась ко мне:

— Куда наладился? Иди-ко сюда, иди...

«Того не хватало! Еще домой завернет», — подумал я и поднырнул под шлагбаум, проскочил мимо будки, припустил к оврагу.

Что еще крикнула стрелочница, я не услышал. Соскользнул на вертких лыжах в овраг.

Делянка с дровами находилась от переезда не так далеко: за оврагом, за речкой — примерное направление я знал.

Здесь, одному среди ровных лугов, под шестлетящего наискосок снега думалось о нашей ссоре совсем по-иному.

Ну зачем я, дурачок, орал, ну зачем я бухал дверями, как будто Женька с Тоней сделали мне подлость? А разве их секреты подлость? Почему это у меня с Тоней могут быть секреты, а у Тони с Женькой — не могут? Что Женька-то хуже меня? Нисколько! Женька-то, вон, для нашей мастерской модель не пожалел, а я что?

И вообще я со своим гордым одиночеством стал вроде Федоровны: мой дом с краю — не трогайте меня. Я ведь даже из-за этого и про лыжи скрыл, про Миньку. Именно из-за этого скрыл. Чтобы не трогали меня. А страху на себя только так напустил — для оправдания.

Нет, Женька не хуже меня, и живет Женьке не слаще, чем мне. Женькин отец — машинист, и если он не на фронте, так все равно дома не живет и почти каждый рейс попадает со своим паровозом то под обстрел, то под бомбежку. Дня не проходит, чтобы Женька не сбежал в диспетчерскую на вокзал, не попытался узнать, домчался ли до фронта поезд, который увел дядя Сережа.

Но диспетчеры Женьке ничего не говорят. Это военная тайна. И Женька мается, каждый вечер бродит по пустому перрону, ждет с обратным рейсом отца. А когда издали узнает по гудку его паровоз, то летит пулей домой и несет оттуда вдвоем с матерью кастрюлю супа и чистую рубаху. Женькин отец находится на казарменном положении и отдыхает в общежитии.

А отдых машиниста невелик. Пройдет два-три часа, и паровоз его снова подхватывает тяжелый эшелон, и снова уходит туда, где бухает и бухает война. Женька опять мотается по перрону и ждет.

Нет, что и говорить, правильно Тоня делает, что с ним дружит. И, конечно, Женька на Тоню не орет, кулаками не машет...

Вот об этом-то вспоминать мне было хуже всего. Хотелось криком кричать, хотелось обновиться и сломать, сокрушить что-нибудь, а что — неизвестно. Не было вокруг ничего и никого, кроме летящего снега и ветра.

Казня себя на все лады, нарочно подставляя лицо хлестким снеговым зарядам, я, наконец, пересек замутненные метелью луга и вбежал в лесную прогалину. Посреди прогалины мокло болотце. По снегу растекались темно-серые пятна, но повдоль болотца ели стояли, как колокольни. Я поднырнул под них, и ветра будто и не было.



Здесь, под елями, тишина. Здесь тонко и прохладно пахнет хвоя. Из-под наста кое-где проглядывают глянцевые ветки брусничника. Снега под старыми деревьями мало, он почти весь задержался на мохнатых лапах, на высоких темно-зеленых этажах, и толстые узлы еловых корней выпирают на поверхность. На многих чешуйчатая кожа сбита. На крепкой, словно кость, древесине глубокие царапины. Грибники и ягодники каждое лето набивают здесь торную тропу, да, видно, и на подводах езживали часто.

У нас ведь, если год грибной, да если к тому же и грузевый, то в лес отправляются не только пеша с корзинами, а и на лошадях, на телегах. На подводы ставят щепные кузова, а каждый кузов — мужику не обхватить.

Тропа круто свернула в гору, а я как бежал по лесной закраине, так все этой закраины и придерживался. Делянка, по словам Валерьяна Петровича, была где-то близко. Места тут пошли повыше, посуше; темные ели стали перемежаться красноствольными соснами; вокруг сосен грудился плотными крестями молодняк, и я петлял то влево, то вправо — высматривал удобный для саней путь. Наконец посветлело, и я выскок на край делянки.

Делянка была небольшая, но нанятые директором еще прошлой зимой лесорубы дровяных штабелей поставили тут немало. Лес под вырубку пошел спорый, и дров с участка хватит школе не на одну зиму. Не снимая лыж, я стал обходить штабеля, прикидывать на глаз, где чурбаны потоньше, поухватистее. Ведь грузить-то сани мне придется одному.

А погода все хмурилась и хмурилась.

Королевский зверек

Наконец, на самом краю делянки, рядом с голым кустом крушины, я разыскал подходящую поленницу и, довольный, хлопнул по ней рукавицей. Хлопнул, и тут же подскочил. И с перепугу чуть не повалился. Прямо из-под моих ног, из-под широкой поленницы метнулось что-то живое, легкое, верткое. Оно пробило рыхлый сугроб, на секунду замешкалось, но справилось, и вот взлетело на высокий ворох веток, замерло. И я увидел горностаю.

Я сразу его узнал. Он внимательно смотрел на меня, вскинув точеным столбиком голову, наострив аккуратные, маленькие уши. Глаза у него, как черничинки, а сам весь морозно-белый, и лишь конец длинного хвоста черный с рыжеватинкой.

И тут я совершил глупость. Я заорал, я хлопал в ладоши и сделал все это неизвестно зачем.

— Эгей! — завопил я, и горностаю взвился,

прыгнул с вороха под куст, и белой молнией исчез в чернолесье. И только тут я схватился за ружье, и чуть не завопил вновь, но теперь это великой досады.

— Воротник! Тонин воротник упустил, растяга! — обругал я сам себя и, сорвав с плеча ружье, кинулся в чащу.

Следы были четкими — напуганный горноста́й шел прыжками. Следы уходили в тонкие осинники, и я молился: «Только бы не свернул в ельник... В ельнике он может пойти, как белка, по верху, и в густых лапах мне его не разыскать. А тут, в осинах, по верху он не пойдет. Верх тут прозрачный, сквозной, спрятаться ему негде. Здесь я разыщу его запросто, лишь бы следы не засыпало снегом».

И вот прыжки стали короче, отпечатки следов мельче. Как видно, горноста́й пошел теперь спокойнее, и я обрадовался. Ведь шансы у нас были неравные: там, где горноста́й проходил метр, мне приходилось пробегать два. Через любой завал, через любое обрушенное дерево он перемахивал напрямик, а я петлял, высматривал: куда же зверек побежал дальше.

Шел он почти по прямой. Он тропил свой след в ту сторону, где лежачих деревьев становилось все больше и больше. «Ага, — подумал я, — наверное, где-то там у него нора! Говорят, именно такие вот непролазные дебри горноста́й больше всего и любит. А если там нора, то живет он, возможно, не один. Возможно, у него есть такая же пушистая горноста́йха, да и соседи — тоже...»

Я ломился сквозь хрусткий голый малинник, переваливался через толстые колоды, обегал непроходимые завалы валежника, и мне уже мерещилась целая охотка горноста́евых шкурок.

Я так раскипятился, так размечтался, что не заметил, как попал в такой бурелом, что и леса из-за него не видать. Все здесь перепуталось, все топорищилось, дыбилось. Острые сучья торчали штыками — тут и медведь не пролез бы, не то что я с лыжами.

А горноста́й прошмыгнул... Причем прошмыгнул недавно и сделал это не спеша. На одной из поваленных елей снег был притоптан и даже оставлена желтая роспись тоненькой струйкой. Наверное, горноста́й тут сидел, смотрел в мою сторону и по-своему усмеялся. Зверюшки это делать умеют. Отдохнув, горноста́й нырнул под самый низ перепутанных древесных стволов, и — ау! Ищи его теперь, свищи! Там у него, наверняка, тайный ход, и уйти по нему он может хоть за версту.

Когда я, наконец, отдышался, то бурелом увидел везде. Когда-то над этой приболоченной местностью пролетел жестокий ураган и наломал тут страшно. На корню не осталось ни лесинки, полегло все подряд. И вот я стоял среди опрокинутых навзничь деревьев и глядел, как

снег заметает прощальный след горноста́я. Заметало его прямо на глазах.

Я отвернулся и посмотрел назад. Думал, увижу край леса, из которого бежал сюда, но увидел лишь одну летучую мглу, одни лишь поднятые на дыбы корневища.

«Крепко завел, — подумал я о горноста́е. — И бежал он сюда не от меня, а от ненастья. Вьюгу чуял. Смотри-ка, вокруг что начинается: света белого не видать». И тут бы мне сразу чалить к лесу, да очень я в погоне упарился и решил отдохнуть.

Отдыхал я недолго. С полчаса, не больше. Я смахнул снег с удобно изогнутой коряги, сел на рукавицы и достал сверток с хлебом. Один кусок я тут же спрятал обратно, а второй, стараясь жевать помедленнее, съел. Съел, сладко вздохнул, подумал о том, что нет ничего вкуснее черного хлеба, сдобренного зимним холодом, и достал второй кусок и тоже съел. Что, думаю, хранить-то? Ведь все равно домой.

А потом я погоревал по горноста́ю, по упущенному случаю помириться с Тоней, забко пережил от ветра и, наконец, собрался в путь. Я не очень-то спешил. Я совсем не подозревал, что за это время вокруг что-то произошло.

Когда я гнался за горноста́ем, за мною тоже оставался четкий след. Он двойной нитью тянулся по лесу, отмечал все мои повороты и объезды. Но вьюга все завивала и завивала. Она быстро замела следы зверька, а вместе с ними принялась заравнивать и мою лыжню.

Сначала это произошло на открытых ветру полянах, потом в безлистных сквозных осинниках, березниках, и остался мой след, наверное, лишь под могучими елями возле самых лугов.

Там-то он остался, да как туда теперь доберешься? Двойная ниточка во многих местах оборвалась, а потом и совсем исчезла. Я понял это лишь тогда, когда тронулся в путь. Кланяясь встречному ветру, щурясь от снега, который так и норовил залепить глаза, я видел, как лыжня становилась все незаметнее. И вот наступила минута, когда я увидел, что бреду по нехожей целине.

Сначала я старался сохранить направление. Но сохранить его было невозможно. Приходилось то и дело огибать завалы, и я быстро сбился. А самое главное, я никак не мог выбраться из буреломного места. Мне казалось, что если бы я добрал до леса и походил бы по его кромке, то, возможно еще, разыскал бы остатки лыжни. Но лес пропал, кругом был только снег и снег. И я понял, что заблудился.

А белая метель стала свинцовой. Приближались сумерки. Декабрьский день короче воробьиного носа, да и из дому я вышел поздно. Дома ребятишки, поди, давно отобедали и теперь приплющили носы к оконному стеклу, пугливо слушают вьюгу и ждут не дождутся меня...

Я остановился, утер лоб рукавицей, снял шапку. Холод приятно опахнул мокрые волосы, и тут у меня мелькнуло: «Ветер! Мне поможет ветер!»

Я открытым лицом, щекой попробовал определить направление ветра. Среди огромных, раскоряченных во все стороны выворотней он крутился вихрями, и все же главное направление определить было можно. Сильнее всего он дул с правой стороны, хлестал прямо в щеку, прямо в ухо, — и так вот, все время подставляя ветру щеку, я опять тронулся в путь.

Куда я шел — на юг ли, на север, — мне было неизвестно. Но шел я теперь в одну-единственную сторону, и это, если не переменится ветер, было уже спасением. Держась так, я все равно где-нибудь да выйду в лес, а там, глядишь, найдется и моя путеводная ниточка.

Ветер не обманул меня. Сначала сквозь метель проступила одна прямостоящая черноногая осинка, затем другая, третья; потом пошли березы попеременно с нечастыми елями, и я вступил в долгожданный лес.

Только было тут еще хуже, чем в буреломе. Деревья скрипели, раскачивались, мерзлые ветви стучали друг о друга, и гул по вершинам катился такой, будто где-то недалеко шел товарный поезд. Снежные вихри здесь, в бесхвойном лесу, гуляли свободно, и я, как глянжу вокруг, так сразу и распростился со всякой надеждой найти дорогу к дому. А вместе с вихрями навстречу мне катила глухая ночь, и я отступил от нее и повернул назад в лом. Уж если укрываться, так лучше там, в плотных завалах, как это сделал хитрый горноста́й.

Убежище я нашел уже в потемках. Две большие ели когда-то рухнули рядом и подняли свои переплетенные корни одною косматой стеной. Верх стены загнулся козырьком, и получилось похоже на гигантскую крытую кибитку с оглоблями из целых елей.

Задевая за концы сухих лап, я продрался между елями к самой стене и сразу увидел, как тут хорошо, тихо. Облепленные землей и мхом корневища не пропускали ветер, а взъерошенные стволы-оглобли впились острыми сучьями в снег и хоть как-то да отгораживали меня от мрачной и вьюжной тьмы.

Я очень ослаб. Мне хотелось пить. Хотелось тут же сесть в сугроб, закрыть глаза и ни о чем не думать. Однако сидеть без огня — гибель, и, глотнув из горячей горсти холодного снега, я принял за костер.

Когда я вышагнул из лыж, то чуть не упал. Без лыж ноги стали такими легкими, слабыми, будто и не мои. А через минуту они опять налились непомерной тяжестью и, загребая снег валенками, я побрел вдоль моих елей, стал обламывать сучья для костра.

Но еловые сучья — не дрова. Они только ра-

стопка. Надо было разыскать что-нибудь поприветнее, и вот впервые мне повезло. В одно время с елями хрястнула на землю сухостоянная береза, и ее ствол разлетелся на длинные куски. Они вмерзли в снег, но, попинав их и раскачав, два обломка я добыл, а мне нужно было не меньше трех.

Если бы у меня был топор, я бы, конечно, обошелся и двумя. Я бы положил обломки друг на друга, стиснул бы кольями, и у меня бы получился настоящий охотничий костер, такой, какой учил меня зажигать отец. Жар и свет от такого костра идут понизу, к человеку; а вот если два кряжа повалить просто так, то вся огненная польза уйдет в небо, — тут обязательно нужен третий кряж.

С третьим я возился долго. Приволок его чуть не ползком. Пальто и штаны у меня намочили, обмерзли, встали коробом. Зато и надсаживался я не зря. Когда выскочил огонь и поджог трутом сухой мох, а потом растопку, то костер запылал отлично. Самым толстым, третьим, кряжом я придавил нижние кругляши, и, когда они разгорелись, весь жар от них пошел ко мне.

Снег между костром и стенкой я раскидал. Потом бросил обе лыжи рядом, прикрыл их ветками и, наконец-то, прилег. Ноги ломило, руки болели — всю кожу на руках я исцарапал об острые сучья в кровь. И когда кончилась работа, опять пришел страх. Подсвеченные костром коряги так и шевелились вокруг, они тянули ко мне крючковатые лапы, извивали змеиные жала и головы, и я старался смотреть только в огонь. Он тоже извивался, шипел, приплясывал, но был — добрым.

От мокрых штанов, пальто, валенок пошел пар, я совсем разомлел и пить захотелось еще пуще. Лизать снег было бесполезно. От него во рту становилось неприятно, шершаво, и я попробовал натаять снега в ладони. Но руку застудил, а воды получил каплю.

«Посудинку бы сейчас какую, — подумал я. — Да только где ее взять?» И вот, вижу: на одном из кряжей береста от жары лопнула и завилась. Я достал обломок напильника и вдоль кряжа, где бересту еще не тронуло огнем, пропорол длинный надрез. Распаренная береста снялась с чурбака полотнищем, на желтой изнанке держалась ломкая, как печень, коричневая кора. Я надкусил один плоский обломок, попробовал на вкус. Жевать хрупкую кору можно было да в пищу не годилась. От нее пахло древесной прелью, сыростью.

— Ладно, — вздохнул я. — Мне бы только попить достать, тогда и без еды до утра дотерплю.

Я свернул берестяной лоскут фунтиком. Фунтик перегнул пополам, нижнюю, узкую часть его пришил надколотым сучком к широкому верху, и у меня получился берестяной черпак.

Я наполнил его снегом, придвинул к огню, но ставить в самый жар побоялся. Посудинка могла сгореть, прежде чем растает снег. А он и так таял, дальнего тепла ему хватало.

Радуюсь своему изобретению, которое было не хуже любого Женькиного, я смастерил еще парочку посудин, тоже набил снегом и стал ждать.

Спустя время в берестяных черпачках накопилось по глотку талой воды. Я сглотнул ее, опять добавил снега и опять стал ждать. «Чаявничал» я таким способом долго. А где-то рядом, в ночной тьме, все время что-то возилось, что-то вздыхало, скрипело, и хотя я понимал — это воет ветер, — все равно было страшно.

Я уткнул голову в колени, смотрел в огонь и думал:

«Ну вот, сильная личность, достукался? Ты хотел одиночества, так получай его! Хочешь — радуйся, хочешь — помирай... Если вьюга зарядит суток на двое, так и огонь не поможет: протянешь с голоду ноги. И найдут тебя только по летней поре какие-нибудь грибники или ягодники, как в третьем годе, рассказывают, нашли одного кологривского мужика. Тот тоже вот так заплутал, замерз, и осталась от него только берестяная записка, нацарапанная ножом. «Прощайте, люди добрые! Выйти к вам, хорошие мои, сил больше нет». Так, рассказывают, и написал: «хорошие мои...»

Видно, мужик этот, не в пример мне, при жизни своей перед людьми не заносился, товарищей от себя не отталкивал.

Я тоже начал подумывать о записке, да тут опять передо мной возникли ребятишки. И, вспомнив о них, я чуть не вслух заорал на себя:

— Не смей! Не смей и думать ни о каких записках! Ты что — сдать решил? Да пусть хоть вьюга-распрывьюга, да пусть хоть голод-распроголод, пускай хоть сутки, хоть трое суток, — все равно я обязан вернуться к Наташке, я должен вернуться к Шурке! Может, еще кто и на выручку придет...

Тут ко мне и в самом деле прилетел чей-то дальний крик. Он прозвенел совсем внятно, а я вздрогнул и подумал: «Опять чудится! Это ветер дурит...» Но ветер-то как раз почти притих, и даже снег перестал идти, а крик повторился. Он прозвучал не так уж далеко. Он прозвенел горестно и протяжно, как от большой боли, а потом смолк.

Тогда я закричал сам. Я замахал руками, запрыгал, загорланил что есть сил:

— Эге-гей, люди добрые! Ау, хорошие мои! Сюда, сюда, я здесь!

Я даже не замечал, что в точности повторяю слова из берестяной записки, а кричал первое, что пришло в голову, лишь бы меня услышали.

Я сгреб всю охапку тонких лап, на которых только что лежал, швырнул их в огонь, и пламя

заполыхало чуть не до неба. Его можно было разглядеть, наверное, за целую версту, но мне уже больше никто ниоткуда не ответил.

Тогда я схватил ружье, вскинул стволом вверх, нажал на спуск и... выстрел почему-то не грохнул. Я дернул затвор, опять нажал, но и опять лишь четко, но бесполезно клацнул боек.

Я откинул затвор, поглядел в ствол. Патрона там не было. Я запустил руку в карман пальто, обшарил карманы штанов, куртки — патрона не было нигде. Наверное, он выпал в снег, когда я возился с дровами.

— Прозевал! — проклинал я сам себя и бесполезную теперь берданку. — Прозевал, не выстрелил, и вот человек прошел мимо... Наверное, в поселке меня хватились, и вот — разыскивают...

Я еще долго стоял у костра и вслушивался в притихшую ночь. Вьюга улеглась окончательно, небо вызвездило, и, боясь замерзнуть, если угаснет костер, я не прилег, а только присел возле него на корточки. Я то и дело встряхивал головой, но вот уже перед самым рассветом меня словно кто накрыл мохнатым тулупом.

Шапка под обрывом

Я увидел Шурку. Шурка улыбался розовым ртом, держал в руке железный ковш и тоненькой струйкой лил мне на ноги холодную воду. Я говорю ему: «Отстань, Шурка! Разве так шутят?» и подбираю ноги под себя, а он все льет и льет. Потом ковш превратился в розовый колобок, от колобка сияние, Шурка говорит: «На, поешь... Он теплый!» Я хватаю колобок и сразу отдергиваю руку. Розовый колобок тоже холоден, как ледышка.

От холода я и очнулся. И сразу увидел утреннее розовое солнце. Оно только что взшло над кромкой леса и светило мне прямо в глаза. А костер совсем погас. Круглые чурбаки перегорели пополам, уголья истаяли в белый пепел, от них поднимался к морозному небу чуть заметный дым.

На деревянных от холода ногах я подковылял к пепелищу, собрал головешки, обугленные концы веток, положил на горячий пепел, стал дуть. Сухой древесный мусор задымил густо, через минуту в нем зародился огонь, и вот уже вновь пылают сваленные в кучу остатки толстенных кряжей, и сам вместе с костром начинаю оттаивать, оживать.

Перво-наперво я вскарабкался на самый верх своего укрытия и огляделся. При свете солнца буреломное место оказалось не так уж и велико: не шире и не длиннее километра, а дальше везде стоял пушистый, заиндевелый лес. Было даже непонятно, как это я так долго плутал.

Конечно, я и теперь не имел понятия, где находится станция, но зато я быстро смекнул, в какой стороне пролегает железная дорога. Она там, откуда поднимается солнце. Из дома я ухотил на закат, теперь надо идти на восход. При таком не очень точном направлении я на станцию могу и не угадать, да зато железной дороги ни за что не проскочу. А как выйду на нее, так и дом где-то близко.

Ночной же крик донесся до меня с восточной стороны и если кто-то там и вправду был ночью, то должны уцелеть следы. Ведь крик я услышал уже после вьюги.

Я хотел сразу встать на лыжи, отправиться в путь, да чувствую, в животе у меня от голода так и сосет, так и подводит. И решил опять натаять воды. Пока вода в берестяных посудинках копилась и грелась, побрел к ближним несломленным елям.

Елку я приглядел густую, разлапистую, раскидал под нею неглубокий снег и нашел десятка полтора бурых, тугих шишек. Эту добычу я тоже разложил у костра. Шишки подсохли и начали медленно раскрываться. Они растопырились будто ежи, я взял одного «ежа», встряхнул над шапкой. Из-под клинчатых чешуек на подкладку выпала добрая сотня крылатых семян. «Беличий хлеб!» — говорил когда-то про эти семена отец.

Семян я насобирав целую пригоршню и всю сразу отправил в рот. «Беличий хлеб» горчил, отдавал смолой, крылья семян облепили язык и небо, да я глотнул теплой воды и они проскочили. В пустом животе сразу заурчало, стало больно. Но я еще раз глотнул воды, и боль прошла.

Костер гасить я не стал. Всю ночь он грел меня, отгораживал от ночных страхов, был мне единственным товарищем, и завалить его снегом не поднималась рука. Я оставил его тихо догорать. Среди сугробов он истает сам по себе.

А когда я уже почти совсем собрался, когда стал поднимать со своего лежбища лыжи, то увидел среди примятых и колких, как подстриженная шерсть, стеблей мха что-то блеснувшее медным блеском. Патрон! Всю ночь он преспокойно пролежал подо мной, под моим собственным боком, а я в потемках его и не заметил. Вот ворона, так ворона! А если бы патрон попал в костер, да взорвался...

Радуюсь и ужасаясь, я осторожно ощупал патрон, сдул с него мусор и вставил в ствол берданки. Теперь у меня опять в запасе был выстрел.

Я заранее приглядел дорогу и все быстрее, все ближе подходил к лесной опушке. В лесу я смогу идти еще прямее и, глядишь, часа через два-три выйду на железку. Выйду, а там...

Я шагал все шибче. Миновал последнюю груду коряг и только собрался нырнуть в спо-

койный, совсем не страшный теперь лес, как со всего разгону влетел на пробитую поперек моего пути лыжню. Влетел, глянул и остановился. «Что за морока? Неужто опять кружусь? Ведь это же мой собственный след. След от моих охотничьих лыж. Такой же широкий, такой же неглубокий».

Нет след, пожалуй, был чуть поглубже и чуть пошире. И на нем успело натоптать какое-то зверье. Я с любопытством присел на корточки, даже руку протянул к следу, но тут же взвился, сорвал с плеч берданку и рывком передернул затвор.

След был не моим, но он был и не чужим. След был от отцовских лыж. Спутать его ни с чьим другим было нельзя. Та самая бороздка отпечаталась на нем яснее ясного. А еще я на нем разглядел такое, отчего мороз по коже продрал вдвойне. Лыжню истоптали не лисы, не зайцы — по лыжне прошла волчья стая. Прошла она гуськом, след в след, но все равно было видно, что лобастые шли числом не менее трех, и один из них такой матерый, что отпечаток его лапы не покрыть и ладонью.

Чувствуя, как волосы поднимают шапку, я стоял, озирался и бестолково тыкал ружьем во все стороны. Меня захлестнул ужас. Мне так и казалось: вот-вот из-за деревьев выскочит Минька, а вслед за ним с воем и лязганьем волчья стая.

Но лес молчал. Ни один кустик в нем не шевелился. Лишь где-то незвонко попискивали синицы, да осыпал снег с недалней сосны красноперый клест.

И вот медленно, робко я начал соображать. Я начал понимать, что Минька и волки все же компания разная. Что они тоже друг другу враги, и тут, на опушке, ночью произошла беда. Ведь кричал-то не кто иной, как Минька. Кричать в этих местах больше было некому. Видно, волки преследовали Миньку. Но почему? Пыхтелич говорил, волки человека не трогают. Меня самого волк не тронул, так зачем же им дезертир? Они ведь не различают, кто плохой, кто хороший.

А, может быть, волки случайно пошли по лыжне? Может, Минька просто с перепугу кричал, а теперь сидит-посиживает в какой-нибудь своей берлоге, нахваливает краденные, удобные для бега лыжи? Он нахваливает, а я пойду во-своясы и опять буду помалкивать?

И тут я выругался вслух:

— Ну, паразит! Ну, ворюга! Так не бывать же этому!

И я решил идти по следу.

Я решил: «Будь что будет. Поймать Миньку, конечно, не поймаю, — с одним-то патроном да без хлеба немного наловишь, а вот логово Минькино, может быть, выслежу. Выслежу, сообщу людям, и тут бандюге конец. А про лыжи тоже

всем расскажу. Ну, разобраться, в чем моя вина, если он их украл?»

Минькина лыжня привела меня опять на открытое, взбуренное корягами пространство, а потом круто повернула почти назад. И тут я догадался, что, выбежав сюда, Минька про волков еще ничего не знал. Мне стало ясно, что напугался он здесь не волков, а напугал его мой костер. Дезертир, должно быть, преспокойно вышел из чащи, увидел огонь и — остолбенел. Увидеть такое он здесь не рассчитывал. И вот срейфил, побежал назад.

А волки тоже добрались до этого места. Серые тоже, наверное, постояли, посмотрели на мой огонь да и опять потянули за Минькой.

Я перевел дух, еще раз проверил ружье и двинулся вдоль страшной тропы. Впереди по-прежнему было тихо. Лишь снег поскрипывал под лыжами, да иногда с еловых лап срывались тяжелые снеговые шапки. Но и от этого шума я вздрагивал, и чем глубже входил в лес, тем осторожнее ступал по лыжне. Минька здесь, видно, тоже не торопился. Ведь шел он впопыхах, боялся налететь на сучок или пень и все время сворачивал то влево, то вправо.

Но вдруг вилеватый след резко спрямился и, как струна, полетел вперед. Он пошел прямо туда, где елки, березы и желтоватые стволы осин поредели, а за ними плеснул голубой свет.

«Кончился лес! А за лесом-то поле! — воспрянул я. — А если поле, то и деревня близко, а в деревнях-то люди. И не надо мне теперь одному выслеживать Миньку, а надо бежать — созывать народ».

Дрожь в руках и ногах сразу поутихла, я даже прибавил шагу. Но спрямилась Минькина лыжня, изменились и волчьи следы. Видно, вот тут-то и оглянулся, наконец, Минька и увидел или услышал за собой погоню. Он кинулся напрямик, а серая стая сошла с лыжни, полетела врассыпную, в обхват.

Волки помчались по сугробам. По длинным волчьим следам-прыжкам было видно, как стая начала зажимать Миньку в клещи. Самый крупный, матерый, заходил с одной стороны, двое помельче — с другой.

А лес был уже совсем редкий. Редкий и голоствольный. Взобраться с ходу на дерево было уже нельзя, и Минька мог рассчитывать только на скорость лыж да на удачу. Миньке оставалось только одно: бежать и бежать вперед. Но лыжня вдруг словно наткнулась на какую-то преграду. Она круто повернула туда, сюда, потом заметалась на месте, и вот прыгнула к толстой и гладкой, как столб, березе. Волки с обеих сторон кинулись к ней — снег под березой был разворочен, истоптан, на снегу темнели пятна.

Я как заметил эти пятна, так мне стало муторно. Я обхватил тонкую осинку, прислонился лбом к холодной коре и тупо уставился в снег.

Я еще и до березы не добрался, а уже увидел, почему Минька дальше не побежал. Дальше бежать Миньке было некуда. Впереди простиралось не поле, а был там высокий речной обрыв. Он круто падал в длинный, покрытый тонким льдом омут: волки загнали Миньку в ловушку. И вот он метался, думал обежать омут, но — поздно. Волки встали и там, и здесь. И тогда — спиной к березе, лицом к стае — Минька решил дать бой. И бой этот был смертельным. Вот тогда-то Минька и закричал.

Я с трудом заставил себя подойти к самой березе. Я даже глаза было прижмурил. Но вот — странное дело: когда подошел поближе, то увидел совсем не то, чего так боялся.

Да, волки тут пировали. На снегу лежал изодранный в клочья мешок, рядом с мешком останки бараньей туши: от нее и костей-то почти не уцелело, лишь витые рога да шерсть; и наши лыжи я тут увидел, — их сыромятные ремни волки тоже сгрызли, — а вот о самом Миньке ничто не напоминало. Он словно испарился.

Я взглянул вверх на березу и вокруг посмотрел. Думаю, куда же он пропал? Пешком, что ли, скрылся? Так ведь и следов Минькиных на снегу больше нет, ушли только волки. Ушли совсем недавно: когтистые отпечатки лап насколько не припорошены летящим по воздуху морозным инеем.

А уходили волки тоже странно. Покончив с тушей, и перед тем как скрыться в лесу, они все трое зачем-то приближались к высокому обрыву и, рискуя сорваться вниз, вставали лапами на самую кромку, на торчащие над крутизной корни березы.

«Прыгать, что ли, собирались?» — подумал я про них, и тут из-под обрыва, из-под нависших корней до меня долетел слабый, но совершенно отчетливый звук. Он был такой, как будто кто там сидел полуживой от холода, как будто пытался выговорить замерзшими губами единственное слово, и выходило: «Бу-бу... Бу-бу-бу...»

Я сам словно в ледяную воду попал. Сам опять затрясся, подумал: «Вон где Минька! Под обрывом сидит, сейчас выскочит...» И уже собрался бежать, да словно какая-то необоримая сила задержала меня и положила плашмя на снег, заставила медленно, все время держа берданку наготове, подползти к обрыву.

Я подполз, высунул над обвисшими корнями голову и посмотрел вниз. Никакого Миньки там не было. Там в неокрепшем льду омута зиял черный пролом. Глубокая вода в проломе дымила, шла воронками и глухо бормотала: «Бу-бу-бу...» А на краю пролома лежала рваненькая шапка-ушанка. Та самая ушанка, в которой Минька ходил зимой и летом. Вот и все...

Вот и не ушел, оказывается, Минька в свою берлогу. Кинулся от волков, а сгинул в омуте.

Не пойдет больше Минька в глухую полночь зорить деревенские да поселковые дворы. Прошлая ночь была для него последней. И последней для Миньки была его вчерашняя добыча. Ею-то он и приманил сюда волчью стаю, свою погибель. Наверное, так и было.

Минькино логово и впрямь находилось где-то в этих местах. Возможно, в одном из тех заломов, где я провел ночь. И вот во вчерашнюю пургу Минька снова очистил чей-то двор, приколол там барашка, упрятал в мешок и отправился «к дому». А потом его воровской путь пересекся с волчьей тропой.

Голодные волки шли за Минькой долго. Они не понимали, почему так резко и призывно пахнет бараном, а движется впереди лишь опасный для них человек. Они останавливались, долго нюхали воздух, нюхали свежую лыжню и нападать не решались. Минька-то шагал, должно быть, не очень быстро, уверенно, он даже не оглядывался, а, говорят, такое поведение человека для волков странно и от решительной атаки их сдерживает.

Но вот Минька оглянулся, увидел серых и — побежал. А как только побежал, то и волки пошли вмах. Они кинулись вослед за Минькой, убегающий, он стал для них добычей, а добычу волки брать умели — они стали его обходить, прижимать к обрыву.

Куда ни кидался Минька, он везде встречал волчьи глаза. На него, уже и так напуганного моим костром, теперь обрушился смертельный страх, а страх в такую минуту не помощник.

И напрасно я думал, что Минька вступил в бой. Вступить-то он, конечно, мог, у него, наверняка, нашлось бы чем оборониться — топор или, на худой конец, нож. Но не тот человек был Минька, чтобы вступить в открытую схватку. Он умел красть, убегать, прятаться, но не умел взглянуть опасности в лицо. Он был человеком подчиненным. И подчинился Минька не чему-нибудь, не кому-нибудь, а собственному страху за собственную жизнь. Этот страх сковал его сразу, как началась война, этот страх сделал его дезертиром, и этот же страх в решительную минуту заставил Миньку отступить перед волками, но отступил он в пустоту, в омут.

Я медленно отполз от обрыва, встал, надел свои лыжи и побрел вдоль берега реки.

Чистый след горносталя

Высокий лесистый берег, вдоль которого я пробивал тропу, стал понижаться. Он вскоре вывел меня на речную долину.

По долине то там, то тут вставали ольховые

рощицы. Они были светлы и прозрачны от инея. Тонкие, изогнутые стволы деревьев отбрасывали на сугробы голубую тень, а морозные купы ветвей клубились под синевой неба, как серебряный дым.

Тут все было полно чистого света, солнечной тишины, да только мало меня трогало. Я думал теперь об одном: «Домой, домой, домой! А там — позабыть про Миньку, успокоить малышей, истопить печку, поесть, хоть капельку отдохнуть и — на работу. За прогул мне, конечно, влепят, но это ничего — стерплю».

И я бежал, из последних сил поторапливался, пока не заметил, что бок о бок со мною вьется голубая цепочка — цепочка следов горносталя. «Ишь ты, — подумал я, — объявился старый знакомый. А, может, и не старый. Может, другой, да все равно теперь, дудки! Не стану я, браток, за тобой гнаться, я теперь ученый, да и не до того мне...»

А след печатается да печатается, никуда не сворачивает, идет прямо к рощице, на которую я держу путь. «Этот фокус мне тоже знаком. Там ты свернешь к реке, запелгнешь по непролазным кустам, и быть мне опять с носом», — сказал я горностаю, а сам как бежал, так и бегу, словно зверек мне и в самом деле ни к чему.

Ни к чему-то ни к чему, да ружье-то я потихоньку из-за спины достаю, помаленьку в руках поворачиваю. Ну, думаю, длинный хвост-короткие ушки, если ты и в самом деле никуда не свернешь, то так и быть, возьму тебя на мушку...

И вот бегу, нажимаю, равняюсь с ольховой рощей и, гляжу, — сидит! Сидит, как миленький! Сидит себе, дурашка, на пеньке, и весь на виду, как мой вчерашний знакомый, только чуть потоньше да поменьше, наверное, первогодок.

Наверное, совсем еще молоденький, наверное, по младости лет глупый донельзя. А может, просто задумал меня подурочить — вот и сидит.

Лапку одну он приподнял. Уши наострил. Мордочку на меня уставил. А взгляд у него лукавый, — такой бывает у ребятешек, когда они задумают что-нибудь этакое хитренькое...

Ну и вот, сидит он, в мою сторону смотрит, голову на один бок то так наклонит, то этак. А день-то вокруг — синий, а снег-то в лугах — чистый, а глаза у горносталя такие смышленные, что поднял я ружье одною рукою вверх и грохнул весь заряд в небо!

Пусть, думаю, живет! Пусть радуется длинный хвост-короткие ушки!

Пусть, думаю, этот свет, этот снег чистым и останется...

И только прокатился мой выстрел по долине, только раскололся эхом надвое, как в ту же минуту за кромкой леса, недалеко от меня, прогремел ответный выстрел. А спустя миг — второй, третий.

И, смотрю, из леса выбегают люди. Они мчатся мне навстречу, по долине, размахивают шапками, руками — они тоже увидели меня. Я хотел шагнуть навстречу, да тут ноги мои будто отнялись, и я, как подкошенный, повалился на пенек, на котором только что сидел горностаи.

Повалился, хотел с пенька встать, да, чувствую, ноги не слушаются меня. Ну, не слушаются и не слушаются, будто их совсем нет! Будто они только и брались послужить мне, пока не придет помощь.

Тогда я стал смотреть в ту сторону, откуда бегут люди. Только выходило так, что и смотреть-то я уже не мог... Смотрю, а ничего не вижу. Где тут смотреть, когда меня одолевают слезы, и весь я раскис неведомо с чего.

Я почерпнул горсть снега, утер лицо рукой, потом шапкой и вот разглядел, кто ко мне бежит.

А бежала добрая половина моей бывшей школы. Все парни, все девчонки — старшеклассники. Всех-то я даже по именам не знал, только по фамилиям. А вот Тоню-то я узнал сразу. Мчится она почти впереди всех. Она так наддаёт лыжными палками, что снег фонтаном, а за нею Женька бежит, и дядя Николай Бабашкин с двухстволкой поторапливается. Бегут все мои стационарные друзья, нет среди них только Валерьяна Петровича.

Да зато вижу — самым-то первым мчится на узких лыжах человек, при виде которого у меня екнуло сердце: «Даже в МТС паника!» И мчит этот человек далеко впереди всех, и это никто иной, как эмтээсовский кузнец Ван Ваньч.

Летит он быстро, ватник на нем распахнут, шапка на самом затылке. Лицо кузнец держит чуть в сторону, будто и разговаривать со мной не собирается, но единственный глаз нацелил прямо на меня. И вот, когда он, задыхаясь, подскочил, я даже отшатнулся: «Ну, думаю, сейчас как даст!» Но кузнец обхватил мою голову шершавыми ладонями, глянул в мое запрокинутое лицо и давай нахваливать:

— Молодец! Молодец, ёж твою корень, что выстрелил! А то бы мы проскочили мимо. А то бы мы, как Валерьян Петрович, только зря пробегали.

Я бубню прижатыми губами в жесткий ватник:

— Разве меня уже искали?

— Всю ночь Валерьян Петрович со школьным военруком тебя искали. Весь лес обшарили, с фонарями ходили, до самых вырубок добрались, а следов твоих так нигде и не нашли... Где хоть бродил-то, чертушка?

— Я дальше был. Лыжню мою задуло...

— Знамо, задуло! Такой буран... Сгинуть мог...

— Ничего не мог. Я бы все равно вышел. Сам.

— Сам-то с усам, а у тебя их нету, — засмеялся кузнец, и был он какой-то не совсем обычный, чересчур веселый, будто хлебнул вина. Должно быть, радовался, что прибежал ко мне первым.

Ласково поглядывая зеленым глазом, он запустил руку под затертый до глянца ватник, вынул толстые шерстяные носки.

— Скидай валенки, показывай ноги. Живо!

— Целы, — говорю, — ноги... Я бы лучше поел чего-нибудь.

— Скидай, скидай!

Он сам стянул с меня валенки, сам раскрутил портянки, потискал жесткими пальцами мои ноги, опять похвалил: «Молодец, порядочек в танковых войсках!», и натянул мне теплые, как печурка, носки. Для него, бывалого солдата, сберечь ноги было наипервейшим делом. Он только после этого вспомнил о моей просьбе и начал из пристегнутой на ремне старой полевой сумки вытаскивать измятый кусок хлеба.

Но тут подбежали все. Печник отпихнул кузнеца, закричал:

— Не суй ему голый-то хлеб, не суй! Человек эстолько время не ел, а ты ему — сухомятку... Парню молока надо! На, Ленька, молока. Это от вашей козы Лизки...

Старик протянул мне белую бутылку. От нашей козы столько молока быть не могло, но я ухватил бутылку, стал пить.

И вот сижу на пеньке, пью молоко, закусываю кузнецовым хлебом, а все стоят вокруг и улыбаются. Тоня улыбается, Ван Ваньч сияет, Женька мне весело подмигнул, и у всех парней на лицах такое, будто они не меня, потеряшку, нашли, а каждый получил по подарку.

«Чему радуются? — думаю я. — Ну, какая тут может быть радость?» И всхлипнул.

А печник говорит:

— Не всхлипывай, Ленька. Сегодня не положено.

И как он это сказал, так, вижу, все заулыбались еще шире. Все закивали: «Точно, мол, точно! Сегодня — нельзя...»

Я утер слезы варежкой, говорю:

— Да это я просто так.

— Хоть так, хоть не так, а реветь не надо. Сегодня день-то, знаешь, какой? Немцев из-под Москвы поперли. Драпают они, сынок!..

Я шел домой со всеми вместе, а потом остановился и говорю:

— Знаете, кого я в лесу нашел?

— Кого? — откликнулся кузнец. — Бабу-ягу, что ли?

— Нет... — совсем тихо произнес я. — Миньку... Он в омуте утонул. Его волки загнали.

И тут все опять остановились, и все смотрят на меня так, как будто никогда и не улыбались. И я негромко рассказал им про все то, что видел у обрыва. И все слушали, и молчали.

И даже потом никто не сказал ни словечка. Да что было говорить? Нечего. Лишь печник потянул было с себя шапку, да так до конца и не снял, и тоже ничего не сказал.

А Тоня и Женька всю дорогу шли со мною рядом.

До свидания!

Радость от победы под Москвой была великая. Отмечала ее вся станция, а наша компания решила собраться у Бабашкиных. Тут уж я отказать не мог, да и не хотелось теперь сидеть

одному. Тем более ребяташки-то переночевали у Бабашкиных, и очень им там понравилось. В своем доме разрешили мне только отоспаться, а потом приказали приходить в гости.

На работу бежать не надо было. Кузнец сказал, что Полина Мокиевна и Павел Маркелыч дали мне на день освобождение. Ведь и в мастерских за меня переживали не меньше, чем в поселке. Как только ночью меня хватились, так Валерьян Петрович первым делом позвонил туда: вдруг обо мне там что-нибудь знают? Но в МТС тоже всполошились. Отпустили на поиски кузнеца, человека расторопного и на ногу легкого.



Когда мы вернулись в поселок, кузнец не зашел ни ко мне, ни к Бабашкиным. Он сразу побежал на работу. «Митинг в честь победы обязательно будет!» — ликующим голосом сказал он. А я как добрался до дома, так, едва успел раздеться, рухнул на кровать.

А в конце дня пришла за мной Тоня. Дверь была не заперта, и Тоня сама вошла в дом. Я услышал ее только тогда, когда она сказала:

— Леня, вставай.

А, может, она и не сказала ничего. Может, мне это лишь почудилось. Но когда я приподнял голову, то увидел Тоню. Она прислонилась плечом к переборке, к занавеске и, не снимая пальто, шапки, смотрела на меня. Лицо ее мне показалось грустным.

Я сел в постели, укрылся до горла одеялом, сказал:

— Здравствуй.

Она ответила:

— Здравствуй... Мы ведь сегодня виделись.

— То встреча была одна, теперь совсем другая. Я хочу что-то сказать...

— Скажи, — негромко произнесла Тоня.

— Знаешь, почему я заблудился? Я хотел принести для тебя горностая.

— Горностая? — тихо удивилась, будто вздохнула Тоня.

— Да, горностая... Он был такой весь белый-белый, — пушистый. Он был такой красивый, что мне и не рассказать. А еще, знаешь, он был какой? Он был смешной и веселый. И я назвал его Длинный хвост-Короткие ушки... И вот поэтому не смог его убить. Я отпустил его.

Тоня наклонила голову, помолчала, совсем тихо ответила:

— Это хорошо... Хорошо, что не убил. Пусть бегают!

— Пусть! — сказал я.

Она опять помолчала, потом подняла голову и вдруг спросила:

— Ты, наверное, думаешь, я сержусь на тебя? За то... Ну, знаешь, за что...

— Теперь не думаю. А тогда думал. Но это я сам виноват.

— Не очень, — сказала Тоня.

— Почему не очень?

— Не надо было нам с Женькой секретничать. Надо было свой секрет показать сразу.

И тут, не дожидаясь моих вопросов, она распахнула занавеску, лукаво посмотрела на меня и говорит:

— Глянь!

Я перевесился с кровати, глянул в дверной проем и тихо ахнул.

— Это, — говорю, — и есть секрет?

— Это и есть наш секрет. А ты что думал?

В комнате, на стене, озаренной закатным солнцем, висели старинные часы с медным маятником. С тем самым маятником, который я ви-

дел не так давно у Женьки в его «лаборатории». Минутной стрелки на циферблате часов не было, стекла в деревянной дверце тоже не было, но желтый маятник раскачивался и отстукивал в лад с нашими ходиками: — Тик-так! Тик-так!

А под часами висел плакат. Огромный самодельный плакат. На плакате химическими чернилами был нарисован кособокий колесный трактор. Из трубы трактора валил густой дым. За трактором тащился плуг с нелепыми закорючками вместо лемехов, а за рулем восседал веселый человечек. Рот — шире масленицы, руки — грязнущие, на голове огромная, как воронье гнездо, шапка. Человечек похож на меня, а вокруг него напечатаны большими буквами стихи — тоже про меня. Там было написано:

Привет болтам и гайкам!

Прощайте, клапана!

За руль возьмется скоро

Наш Ленька, старина!

Получится из Леньки

Не кок, не трубочист;

А выйдет замечательный

Пахарь-тракторист!

И в это время часы захрипели, заскрипели, и вдруг начали вызванивать: — Бом-м... Бом-м! Они отбили ровно три удара, ровно столько, сколько показывала часовая стрелка. И тут я не только ахнул, я даже с кровати соскочил и стою, как куль, в одеяле.

— Вот эти часы вы и прятали? Вот этот плакат и сочиняли, когда я к вам вломился?

— Это и сочиняли, это и рисовали... А часы Женька давно приготовил. Минуты они не показывают, да зато время отбивают примерно точно, с ними на работу не проспишь. Ведь мы вчера хотели, чтоб у тебя праздник был. Настоящий... Давай собирайся. Нынче у нас другой праздник будет — для всех.

Тоня ушла в комнату, я стал одеваться, а сам все поглядываю на часы, на плакат, и так мне весело, так легко — хоть по воздуху лети!

— Здорово, — говорю, — у вас получилось. И часы здорово, и рисунок здорово, и стихи тоже. И про трубочиста верно. На него я похож, когда на работе. А вот кок зачем? Я что-то не понял.

Тоня смеется за переборкой:

— Это у меня просто-напросто одного злога не хватило, вот я кока и вставила... А что? Кок ведь тоже профессия.

— Точно. Профессия. Да еще и какая!

А сам думаю: «У тебя, Тонюша, одного злога не хватило, а у меня целого стихотворения. Хорошо, что чужое-то вчера со стекла, с кораблика, стер».

И вот я опять лечу к дому Бабашкиных, опять мчусь по широко разметенной дорожке к их высокому крыльцу, но теперь я не один, теперь со мною Тоня. На бегу я подхватываю

горсть пушистого снега, швыряю в Тоню, Тоня в меня — мы хохочем, нам радостно.

Шурка с Наташкой, как только увидели меня, так сразу соскочили с табуреток, сразу кинулись ко мне. А я их обоих обхватил, даже над полом приподнял, но старики сидят и глядят на меня, на Тоню, на ребяташек, будто нас совсем не видят. Смотрят в нашу сторону, а сами даже и не шелохнутся.

Я разжал руки, отпустил ребят, а Тоня спрашивает:

— Разве Валерьян Петрович к нам в гости не придет? А Женька где?

— Валерьян Петрович был, да на станцию ушел, — говорит Наташка.

— Женька вслед за ним убежал, — добавляет Шурка и почему-то испуганно смотрит на тетю Талю.

А та подхватила конец платка, плотно прикрыла губы — лицо у нее сморщилось, задрожало.

— Перестань, мать, перестань, — сказал старик, и вид у него тоже такой: вот-вот заплачет. Борода у него так и ходит, так и ходит, а губы трясутся.

И тут мне словно кто ножом в сердце ткнул: «Неужто с фронта какая весть? Неужто без меня, пока я отдыхал, радио что-нибудь другое, опять страшное сообщило? А, может, с мамой хуже опять?»

Но тетя Таля обронила руки на стол и, покачиваясь, заговорила:

— Надо же... Надо же... Ну и Валерьян Петрович, дорогой! Целые сутки сам знал, а нам — ни слова... Ребят, говорит, жалко. Ребятам радость, говорит, не хочу портить... Да кому какая нынче радость, коли война? Разве убегом-то, наспех прощаясь, радости кому прибавишь? Вон они... — кивнула старуха на тихих Шурку с Наташкой, — вон они — что понимают? — а и то давеча заревели.

Слушая плач тети Тали, я начинаю тревожно догадываться, в чем тут дело. Я хочу спросить об этом вслух, да голос меня не слушается.

А старуха все наговаривает:

— Ведь мы бы ему, Николаша, проводы устроили. Настоящие проводы, красноармейские. Ну что он так-то поехал? Ведь никого-то у него нет, никто ему, бедовой головушке, вслед не помашет... Один, как перст. Ох, и как же это мы его, Николаша, послушались, на вокзал не пошли?

— Да уймись ты, уймись! — говорит старик. — Что причитаешь, как Анна Федоровна? Вот то и не пошли, что не велено... Что на слезы наши ему там, у поезда, смотреть невыносимо.

И тут я понял почти все. Я подбежал к деду Николаю, и не то шепотом, не то криком, не помню уж каким голосом, спрашиваю:

— Что? Валерьян Петрович на фронт отправляется, да?

Печник сокрушенно махнул рукой:

— Отправляется... Бумага ему еще вчера вечером пришла, а он нам только сейчас вот, в последнюю минуту, сказал.

— Как, в последнюю?

— Так, в последнюю... Он сейчас уж на вокзале. С первым попавшим эшелонам едет.

— Так ведь победа же!

— Ну, до полной-то далеко. Еще хватит беды на нашу голову...

— А я?

— Что, ты? — не понял и совсем растерянно взглянул старик.

— А я? А со мной? А со мной-то что же не попрощался?

— Да он, Ленка, и с нами толком не простился. Забегал, сказал, обнял, да и — обратно... Тебе вот ключ оставил и записку.

— Какой ключ?

Дед Николай пошарил по столу дрожащей рукой, сдвинул блюдо с брусникой, а за ним и вправду лежал голубоватый, в клеточку, согнутый пополам листок, а на нем — ключ. Тот самый, опаянный медью, тяжелый ключ от книжной комнаты, за которым я бегал когда-то к Валерьяну Петровичу в школьный кабинет.

Я даже вздрогнул, когда этот ключ увидел. Я даже помедлил, прежде чем его взять, но вот взял, стиснул в кулаке, а другою развернул записку. Там острым, летящим почерком было написано:

«Леня!

Оставляю на тебя книги и свою комнату. Пускай мой дом тоже не опустеет. Помнишь наш разговор? А то, что не простились, не горюй. Лучше встречаться, чем прощаться — верно? Так что, до встречи, до полной нашей победы! Из армии пришлю письмо. Крепко жму руку. Твой В. П.».

Внизу было приписано:

«За вчерашнее не переживай. В лесу вел ты себя правильно. Мне рассказали школьники.

И опять роспись, но уже полная:

«В. Тихонравов».

Я пробежал записку глазами раз, пробежал два, руки у меня тоже, как у деда Николая, дрогнули. И тут словно бы опять я слышу только что сказанные печником слова: «В последнюю минуту... Он уже на вокзале... Он с первым попавшим эшелонам уезжает...» И все оцепенение с меня долой, и я из дома — долой. И за мною лишь дверь да крыльцо успели прогнать. Я уже за калиткой, я мчусь к станции.

Я бегу так, что в ушах свистит ветер. Неровная тропа подо мною сливается в одну сплошную ленту. Я не слышу ни своего дыхания, ни буханья сердца, я думаю: «Скорей! Скорей! Неужели опоздал?»

Там, где тропа сворачивает к вокзалу и становится шире, меня настигает Тоня. Но я смотрю только вперед. Я еще издали, при свете закатного солнца, увидел на станционных путях красный эшелон. Паровоз в голове его меняется: эшелон вот-вот отойдет.

Я влетел на длинную, всю в истоптанном снегу привокзальную площадку, махнул Тоне: — Беги влево, я — вправо! Кто найдет первым, пусть крикнет!

А уже у самой дальней, самой первой теплушки заиграл, залился горнист. Он торопил бойцов, и они вспрыгивали на подножки. И были они опять все в белом. А я мечусь, высматриваю среди них темную фигуру Валерьяна Петровича. Я понимаю, он в белом быть не может, он форму еще не получил, он еще только едет с этим попутным эшелоном в свою воинскую часть.

Я кидаясь туда-сюда, но везде вижу лишь незнакомых солдат. Они кричат мне:

— Мальчик! Мальчик! Ты кого ищешь? Отца, что ли? Смотри, шапку потерял!

А я и сам чувствую, что у меня слетела шапка. И я нагибаюсь, и ловлю ее, а в руке белый комок записки, — он тоже падает в снег.

Я подбираю шапку, записку, а тут, слышу, — загудел паровоз. Он прогудел, а где-то рядом раздается Тонин крик:

— Леня! Леня! Сюда, быстреей...

Я распрямляюсь и вижу, стоит на перроне Женька, стоит Тоня, и стоит рядом с ними новый, уже поступивший в школу без меня, военрук в шинели с пустым, заложенным в карман рукавом, и стоят тут все школьные учителя. Валерьяна-то Петровича они, видно, не послушались, пришли провожать, и вот машут мне, показывают на распахнутую дверь вагона:

— Туда смотри, Никитин! Туда!

Я врываюсь глазами туда, а там среди светлых солдатских полушубков, среди белых комбинезонов и башлыков — знакомое пальто Валерьяна Петровича, его невоенная шапка, его устремленное ко мне лицо. Но вагон уже тронулся, поплыл, покатился, и напрасно Валерьян Петрович мне пробует что-то крикнуть — уже поздно.

И тогда я побежал по перрону. Побежал вслед за вагоном. Я замахал смятым листочком записки, закричал изо всех сил:

— Валерьян Петрович! Валерьян Петрович! Я прочитал, я все сделаю, я — сохранию...

Белые крылья маскхалатов проносятся передо мною, развеваясь на звенящем, поднятом эшелоном ветру.

Прогредел последний вагон, и я остановился. Далеко от вокзала, по колена в сугробе.

И когда поезд скрылся за лесом, я поднял руку и увидел, что все еще держу записку. Еще не притихший после эшелона ветерок слабо трепыхал ее, будто хотел вытянуть из моих паль-

цев. Я поднес ее к глазам, но раздумал, переставать не стал, а свернул и осторожно опустил в карман, где лежал ключ.

А потом я побрел прямо по сугробам к тропе, по которой от станции к притихшему, вечернему поселку шли все провожающие, шли Тоня с Женькой. Я тоже пошел в ту сторону.

Я пошел туда, где стоит и наш дом, и дом Валерьяна Петровича. Я пошел туда, где живут все мои друзья, которых я теперь никогда не променяю ни на какое гордое одиночество. Я остаюсь теперь с ними, а затем наступит та-кой денек, когда и мама вернется домой, и вернется с войны отец, и, конечно, придет Валерьян Петрович.

Они все приедут, и вот тогда-то и будет у нас настоящий праздник. Праздник для всех. Я — верю в это.



Урал, и в первую очередь Средний Урал, является одним из интереснейших районов нашей страны, с точки зрения развития металлургии, экономического развития. Но смогут ли наши потомки лет через 100 увидеть технику прошлых столетий?

На Урале есть старые заводы, которые утратили экономическую ценность, но по инерции продолжают работать, без перспективы на будущее — «и носить нельзя, и выбросить жалко». По-видимому, целесообразно один из таких заводов вместе с бытовыми постройками превратить в музей старой уральской промышленности. Уже сейчас для такого музея придется многое восстанавливать: все старые заводы не раз реконструировались. А в будущем восстановление обойдется дороже, чем постройка новых...

На месте старых заводских построек возводятся современные, величественные сооружения. От этого и радостно, и горько: наше благополучие растет, но при этом навсегда исчезает история промышленного края.

В. БЕЗДЕНЕЖНЫХ,
Челябинск

Домна-музей

На 14 метров возвышается над берегом пруда восьмигранное здание со старинными круглыми и полуовальными окнами... Это доменная печь, построенная в 1860 году. По тому времени большое техническое сооружение: объем домны — 100 кубометров. Круглый год возили к ней на лошадях, в плетеных коробах железную руду. Еще сейчас встречаются в окрестных лесах пепелища, оставленные углежогами, или, как называли их встарь, дегтярями, обвалившиеся и заросшие буйной травой шурфы.

Отличнейший чугун давала северская доменная печь. Но иссякли запасы руды в местных рудниках. Тщетно пытались забойщики найти новые, богатые железом, руды. Находили, да все обедненные.

Началась первая мировая война. Очень многие из 500 человек, среди которых 170 были рабочие основной профессии — доменщики, ушли на фронт. Не стало хватать рабочих рук. В 1914 году огонь в печи был потушен, а в 1921-м поставлен на консервацию весь Северский железодельательный завод.

Одиннадцать лет простояла домна бездыханной. Когда в 1925 году Северский завод был передан по договору английской концессии «Лена Гольдфильдс Лимитед», вновь запылало в ней пламя. Работала она и тогда, когда Советское правительство изъяло завод из концессии. Но постепенно надобность в доменной печи отпадала, и в июне 1934 года она была остановлена уже навсегда. Сейчас это редкий памятник ста-



рой уральской металлургии, интереснейший объект не только для туристов и художников, но и для ученых. Пристальное внимание уделяет ей доктор исторических наук профессор Свердловского архитектурного института А. Г. Козлов. В здании домны бывали делегации специалистов из Волгограда, Челябинска, Мурманска, Донбасса. С домной непременно знакомятся студенты архитектурных институтов. Ей посвящали свои полотна уральские художники А. Ф. Бурак и В. М. Яковлев.

Заводские ветераны приложили немало сил, чтобы восстановить картину каторжного труда доменщиков. Они реставрировали печь, установили у разливочной канавы манекен горнового, одетого в робу, которую носили в прошлом столетии. Найденный в раскопках древесный уголь, железная руда, флюсы, инструмент распо-

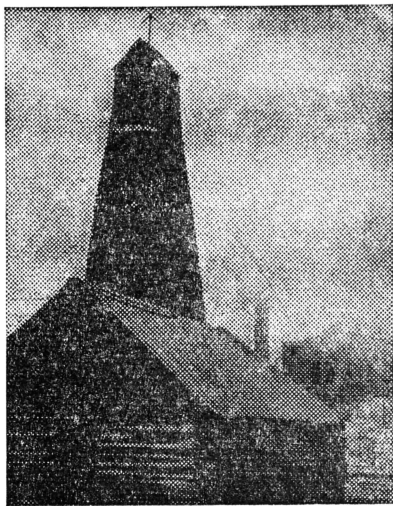


ложены так, что создают обстановку металлургического процесса тех времен. Впечатление такое, будто сию минуту и остальные доменщики были здесь и лишь ненадолго отлучились...

Сорок лет не дает продукции северская домна. Но роль, которую она выполняет ныне, не менее важна.

Обществом по охране памятников взят на учет целый ряд старых сооружений на Урале. Государство обеспечивает их сохранность, запрещает перестройку и переделку. Вот некоторые из них: комплекс сооружений Билимбаевского железодельного завода (1733 год), Сысертского железодельного завода (1840 год), здание пассажа главного торгового павильона Ирбитской ярмарки — образец здания торгового типа прошлого века, здание заводоуправления Верх-Исетского завода (1832 год), кузнечно-прессовый цех Уралмаша (1927 год), водонапорная башня Рейшера на Уралмаше — уникальное архитектурное сооружение (тоже советский период), мост через реку Исеть в Свердловске по ул. Декабристов (20-е годы (XIX века) и другие.

А. КОЖЕВНИКОВ
Фото М. Шубинского



Эту маленькую буровую вышку увидишь не на перспективных площадях — она стоит в городе Охе, центре сахалинского нефтяного района. Возраст ее — почти век.

Рядом с нынешними стальными гигантами в 40 метров высотой деревянная вышка смотрится совсем примитивно. Но охинцы сохраняют ее как памятник: здесь была пробурена первая сахалинская скважина.



Я очень не люблю, когда «нукают». «Ну, что копаетесь?» — говорит продавец покупателю с нетерпеливым раздражением. «Ну-ка перестань!» — часто слышишь и сердитый материнский окрик. «Ну, сходите вы или нет?» — в автобусе скажут так, и сразу настроение портится... Что это за частица такая? С одной стороны — без нее вполне можно обойтись, с другой — на каждом шагу слышишь. Откуда она взялась в нашем языке?

Татьяна КОРАБЛЕВА,
Оренбург



Ну и частица!

Перелистывая оренбургские газеты столетней давности, я обнаружил в них статью действительного члена губернского статистического комитета Дмитрия Мухина «Значение частицы «ну» у казаков Наследнической станицы»¹. Она была опубликована в 1871 году. Вот начало этой любопытной статьи:

«В русском языке есть несколько слов, которые в разговорах имеют разное значение. Это особенно заметно в частицах... Частица «ну» употребляется везде; но нигде, кажется, не употребляется столько, как у жителей здешней станицы. В разговорах она имеет несколько значений и особым произношением заключает в себе ответ на многоречивые рассуждения...»

Эта статья опубликована через девять лет после выхода в свет «Толкового словаря» В. И. Даля. Частица «ну», которую Даль рассматривает и как междометие и как союз, он отводит полстраницы в книге большого формата и приводит много оттенков и значений. Однако Даль не приводит наблюдения, отмеченные в статье Д. Мухина, хотя, как известно, Даль сам прожил восемь лет в Оренбурге и именно там начал свой труд.

Любопытно, что в качестве, замеченном Д. Мухиным, — «ответ на многоречивые рассуждения» — мы эту частицу не обнаружим в произведениях авторов, живших в центральной полосе России. Она отсутствует в рассказах Л. Толстого, И. Тургенева, Н. Лескова, А. Толстого. В фольклоре Оренбуржья, в частности, в сказках прошлого столетия, которые прежде называли «мужицкими» (в отличие от казачьих), частица «ну» употребляется не как слово, имеющее чисто интонационную функцию, а как некое дополне-

ние к фразе, снабженной глаголом-сказуемым, то есть содержащей действие, призыв к нему или его констатацию: «Ну, пойдем», «Ну, рви ягоду», «Ну, схожу посмотреть».

Именно в таком плане, с большим чутьем и несравненным художественным мастерством использовал частицу «ну» А. П. Чехов. Она в его рассказах не формальна, не бездейственна и инертна, а всюду служит средством заметного эмоционального усиления. Попробуйте вычеркнуть «ну» в рассказах «Агафья», «Длинный язык», «Мечты» — и диалог сразу потускнеет, потеряет живость. Известную роль в тяготе Чехова к этой частице сыграло то, возможно, что юность писателя связана с землей донского казачества.

А вот в «Поднятой целине», где отчетливый донской диалект, мы обнаружим именно то употребление частицы, о котором столетие назад упоминал корреспондент «Оренбургских губернских ведомостей».

«— Про погоду гутарим, — глазом не моргнув, отвечал Макар. — Ну».

Это самое «ну» многим кажется порождением уличного жаргона. Как-то я спросил у знакомой, педагога-словесника, каково ее отношение к упомянутой частице. «Это не что иное, как слово-паразит», — сказала она; а потом я услышал, как она сама вместо обстоятельного объяснения ответила кому-то: «Ну».

Видно, есть в этой частице какая-то не предусмотренная теорией сила, коль она так дерзостно вторгается в нашу речь. А, может быть, она действительно, как сто лет назад подметил оренбуржец, «особенным произношением нередко заключает в себе ответ на многоречивые рассуждения?»

Дело, стало быть, не в «безотчетном отвержении такого-то слова» (А. С. Пушкин), а в уразумении — на что оно пригодно...

¹ С 1919 г. входит в Брединский район Челябинской области.

ВОЕНКОМ



**Аркадий
БУСЫГИН**

Рисунок
В. Бубеницкова

Пожилой высокий мужчина вошел в подъезд и не спеша стал подниматься по ступенькам. На площадке второго этажа он приветливо поздоровался с соседкой, заглянул в почтовый ящик, достал газеты и письма. Одно письмо было из Златоуста от следопытов школы № 27.

— Смотри-ка, не забывают юные друзья,— сказал он жене, Лидии Павловне, войдя в квартиру.— О чем, интересно, пишут?

«Дорогой Александр Карлович! Поздравляем Вас с праздником 1 Мая. Желаем Вам крепкого здоровья, большого счастья, весеннего настроения»,— прочитал он вслух красивую открытку.

«Спасибо, спасибо... здоровье мое, действительно, пошаливать стало. Что касается счастья, то чего еще можно желать, если тебя не забывают такие славные ребята. От этого и настроение поднимается и жить хочется до ста лет».

Александр Карлович Вейс познакомился со следопытами школы № 27 летом 1969 года, когда в составе делегации свердловчан приезжал в Златоуст на 50-летие освобождения города от колчаковцев.

...С хмурого неба лил дождь. Люди не обращали на него внимания. Они собрались в лесу недалеко от станции Тундуш у огромного камня-постамента. Александр Карлович стоял с непокрытой головой. Капельки дождя стекали по лицу. Они мешали читать слова:

«На этом месте 23/VI 1918 г. был убит белобандитами военком Златоуст-Челябинского фронта И. М. Малышев».

Рядом на земле лежали багряные маки.

Оркестр исполнял «Варшавянку».

Трудно верилось, что эти вот сосны были свидетелями... Ни сам Вейс, ни красногвардейцы других отрядов не знали тогда о трагической смерти комиссара. Все дрались в это время с белочехами на линии фронта, образовавшегося между станциями Уржумка и Миасс. По несколько раз в день ходили в атаку красногвардейцы, вчерашние рабочие. Многие из них взяли в руки винтовку впервые. Но как ни велико было желание победить, силы оказались неравными. А тут еще в тылу кулаки зашевелились, ободренные наступлением белочехов. Они-то и напали на поезд, в котором ехал Малышев, и зверски расправились с комиссаром.

Как он, Александр Карлович Вейс, латыш, родившийся и долгие годы живший в Риге, оказался на Южном Урале во главе отряда нязепетровских красногвардейцев? Произошло это в 1915 году во время империалистической войны. Рижский завод «Саламандер», где отец и сын Вейсы работали токарями по металлу, эвакуировался на Урал. К этому времени девятнадцатилетний Вейс, уже хорошо знакомый с жизнью рабочих, разделял революционные взгляды отца и его товарищей, участвовал в маевках, в первомайских демонстрациях, в забастовках. По заданию подпольной организации РСДРП (б) распространял среди рабочих нелегальную литературу. Несколько раз Александра Карловича арестовывали по подозрению в революционной работе, но ни разу не судили — не было достаточных улик.

Однажды Александра Вейса арестовали, когда он выходил из дома, где снимал комнату. В то время он был членом боевой группы и по условиям конспирации жил отдельно от родных.

— Есть оружие?

— Нет.



АЛЕКСАНДР ВЕЙС



Тут же, у дома, двое полицейских обыскали его. Но ничего не нашли, кроме большого дамского гребня, который лежал во внутреннем кармане пиджака.

— Подарок для зазнобы?

— Да.

— Получишь обратно, если выпустят. Следуй с нами.

Пока шли в полицию, Александр Вейс старался понять, кто донес, что у него есть браунинг. Маленький старый браунинг со слабой пружиной. Три дня назад он носил ее на завод ремонтировать. Сейчас осечек уже не будет. Когда он отпускал пружину после закалки, подходил подручный с соседнего участка... Неужели понял, что от браунинга? Но у хозяйского замка очень похожая, и он ее тоже закаливал. Поняв, что выкрутиться можно, Вейс успокоился.

В ожидании допроса Александр привалился к одиночному канцелярскому столу и скрестил руки на груди. И тут вдруг во внутреннем кармане пиджака, где только что лежал гребень, нащупал два патрона от браунинга. Надо было немедленно освободиться от них. Но как? Выйти из комнаты нельзя, нельзя пройти и в угол, где стоит урна для мусора. Незаметно потрогал ящик стола. Заперт. И тут Александр обратил внимание на большую стеклянную чернильницу. Осторожно осмотрелся. Арестованные были поглощены своими думами и не обращали на него внимания. Вейс потихоньку опустил в чернильницу оба патрона.

В тот раз держали его две недели. Часто допрашивали, били. Выпустили, потому что никаких подтверждающих улик снова не было.

На Урале Александру Карловичу приходилось часто менять жилье и работу, чтобы уйти от преследований полиции. Октябрьскую революцию встретил в Лысьве. В начале 1918 года переехал в Нязепетровск. Здесь к тому времени была уже сильная партийная организация.

28 мая 1918 года в Нязепетровск пришла телеграмма Уральского Областного Совета с сообщением о мятеже корпуса белочехов. Предлагалось немедленно создавать рабочие отряды и выступать в сторону Златоуста — навстречу врагу.

В течение дня было сформировано несколько отрядов, командиром одного из них стал Александр Карлович Вейс.

Многое пришлось пережить Александру Карловичу в те дни: смерть товарищей, отступление из Нязепетровска.

Колонна отступающих красногвардейцев с обозом и семьями растянулась по лесной дороге в сторону Верхнего Уфалея на несколько километров. Неожиданно со свистом и стрельбой из леса выскочили на конях казаки. Их было человек сорок. Они перерезали колонну и налетели на обоз. Поднялся женский плач, крики. Многие бросились в лес.

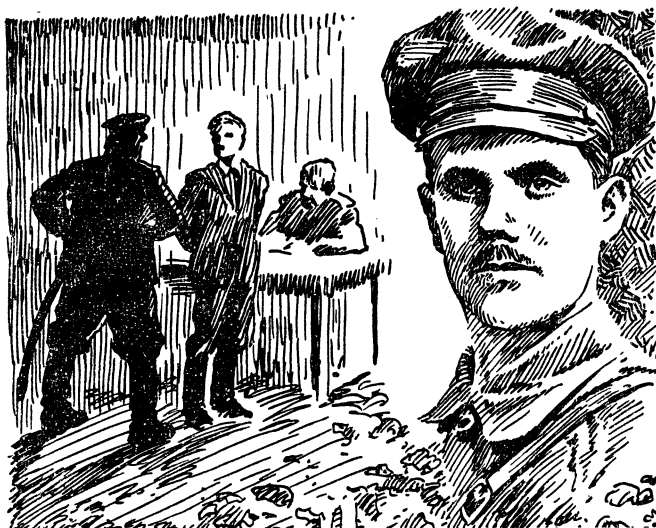
Увидев казачьи фуражки и услышав шум, Александр Карлович Вейс приказал своему отряду залечь.

— Целься лучше. Стреляй выборочно! — скомандовал он. — Пли!

Встретив дружный отпор, враг отступил, оставив убитых, побросав награбленное...

Обо всем этом рассказал Александр Карлович Вейс, выступая на станции Тундуш.

— Мы, участники гражданской войны, хотим, чтобы наша современная молодежь хорошо знала, каких усилий и жертв нам стоила победа, чтобы не забывала этого, чтобы



молодые люди стремились стать похожими на непреклонного коммуниста Малышева!

Звучит мелодия революционной песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой»... Александр Карлович вместе с другими членами делегации Свердловска подходит к месту гибели И. М. Малышева, наполняет урну землей, некогда обогрелой кровью героя гражданской войны. Почетный эскорт машин сопровождает делегацию до Свердловска, где земля из урны будет возложена на место будущего памятника И. М. Малышеву.

В ноябре 1968 года Вейсу пришло письмо от директора краеведческого музея Даугавпилса Р. Паукште:

«Уважаемый Александр Карлович!

Нам дорог каждый человек, имеющий отношение к истории города. Ваша работа в 1919 году в Даугавпилсе нас очень интересует.

Будьте любезны, напишите, сохранились ли у Вас музейные реликвии — личные вещи тех лет, документы, газеты, рукописи... Очень просим оказать нам помощь в собирании реликвий революционных лет».

Как ни трудно было расставаться, выслал. Решил, что там нужнее. С тех пор серебряный портсигар, его реликвия, хранится в музее города Даугавпилса (Двинска). В этом городе Вейс, уехав с Урала в 1918 году, был сначала заместителем военного коменданта, а затем и военным комендантом.

В начале 1919 года положение в Латвии было очень сложным. Пала советская Рига. Красногвардейцы Даугавпилса и 15-я армия потеряли связь с фронтом. Член реввоенсовета республики К. Х. Данишевский вызвал к себе

Александра Карловича Вейса и Жана Германовича Дуче, коменданта города, и поручил им наладить связь. Для выполнения задания они получили паровоз с двумя вагонами. В их распоряжение поступили бойцы минноподрывной команды с большим запасом динамита.

Поехали навстречу отступающим войскам в сторону Риги. Добрались до реки Огре. Там начинался оборонительный рубеж. Вейс и Дуче на своем поезде продвинулись вперед, взорвали несколько мостов, разобрали железнодорожное полотно, а под конец уничтожили мост и через реку Огре, чтобы сдерживать наступление врага.

В конце лета к Даугавпилсу подступили банды белополяков, которые в союзе с латышскими баронами и другими врагами советской республики рвались к важному железнодорожному узлу. С левого берега Даугавы враг обстреливал город, а ночью через реку направлял диверсионные и разведывательные группы. В то время А. К. Вейс был уже комендантом города. Он сам проверял особо важные объекты: мосты, железнодорожный узел, склады.

От недосыпания и недоедания, от нервного переутомления А. К. Вейс заболел и в ноябре 1919 года был отправлен в тыл на лечение.

...Александр Карлович немного посидел, справившись с нахлынувшими воспоминаниями, походил по комнате. Снова сел. Второе письмо было из Сургута Тюменской области.

Сургут, Сургут. Тоже вежа в жизни Александра Карловича Вейса...

Уже позади пинские болота и польский фронт. Контузия, малярия... На польском фронте в 1920 году ему, комиссару 169-й бригады 57-й дивизии 16-й армии, вручили серебряные часы с надписью: «Честному воину рабоче-крестьянской Красной Армии от ВЦИК». Эту награду он получил за успешную разработку операции и взятие города Речица.

Однако часы в отличие от портсигара уже не будут экспонатом музея. Они были украдены белобандитами в 1922 году на Алтае во время налета на его квартиру. Да, это уже после Сургута... Сколько событий на одну человеческую жизнь. Как плотно спрессованы они в короткий отрезок времени с 1918 по 1922 год!

Сургут... Небольшой сибирский городок. Здесь Александр Карлович был три раза. Первый раз — в июне 1921 года.

...Уже закончилась гражданская война, но бои не прекращались. Зимой 1921 года было ликвидировано ишимопетропавловское кулацко-эсеровское восстание. Остатки банд бежали на север Сибири, где терроризировали население, захватили Сургут и другие населенные пункты по Иртышу и Оби.

Приказом по дивизии А. К. Вейс был назначен военным комендантом и комиссаром бронепарохода «Алтай», который становился ударной силой в ликвидации банд. Это был обыкновенный буксир. В обязанности нового коменданта и комиссара вменялось сделать его бронированным и оснастить необходимым количеством пушек и пулеметов, принять на борт артиллеристов и пулеметчиков и отправиться вниз по рекам Томь и Обь.

Шли медленно — за ледоходом, проверяя, нет ли белобандитов в прибрежных поселках. Однажды при прочесывании местности обнаружили стойбище хантов. Крайняя бедность жителей ошеломила красногвардейцев. Выделили из пайка команды несколько караваев хлеба, мешок муки, соль, чай. Переводчик сказал хантским женщинам, что это подарок от Советской власти.

В июне приблизились к Сургуту. По разработанному плану командующий операцией А. А. Неборак с отрядом красноармейцев в сто человек ночью приготовился к высадке на берег, чтобы незаметно подойти и ударить по городу с тыла. Крепко пожали друг другу руки, обнялись.

— Желаю удачи, — сказал Вейс.

— Действуй, как условились. Подольше маневрируй. Они вытаращат на вас глаза, а мы их — сзади, — ответил Неборак.

Через минуту шум шагов затих, отряд растаял в прозрачном тумане белой ночи. А пароход «Алтай» под командой А. К. Вейса без опознавательных знаков пошел дальше

вниз по Оби. К городу приблизились ранним утром. Долго маневрировали, чтобы привлечь внимание врага и не открыли огня, ожидая подхода сухопутного отряда. Белобандиты, не поняв молчаливого маневрирования и не зная, кто на пароходе, через два часа выслали лодку с представителем для выяснения.

— Эй, на посудине! Вы кто, братва? — кричал бандит, встав в лодке во весь рост.

— А ты кто такой? Чего орешь, ребят будишь? — отозвались с парохода.

— Побалакать надо...

— Залезай наверх, поговорим.

Плицы колес перестали хлопать по воде.

Увешанный маузером, наганом, двумя гранатами бандит с трудом взгромоздился на борт парохода.

Сохраняя маскировку, красноармейцы предложили ему пройти к главному. Когда бандит вошел в каюту и увидел красного командира, резко рванул назад. Но ему преградила дорогу двое красноармейцев, наставив наганы.

— Спокойно. Если, конечно, жить хочешь.

Александр Карлович допросил его. Пленный сказал, где находится их штаб, рассказал, какими силами располагают белобандиты. Они оказались немногочисленными.

В точно назначенное время пушки «Алтая» ударили по штабу, застрочили пулеметы. Очистив берег от врага, А. К. Вейс высадил десант и сам повел его на штурм города. В это время включился в бой отряд Неборака. Испуганные нападением с двух сторон, бандиты бежали.

С тех пор Советская власть в Сургуте была установлена навсегда.

29 июня 1968 года жители Сургута праздновали 375-летие своего города. Вместе с другими участниками освобождения города приехал и Александр Карлович. На торжественном собрании он, почетный гость, сидел в президиуме.

А через год А. К. Вейс снова приехал в Сургут по приглашению комсомольцев, которые отмечали пятидесятилетие со дня основания своей организации. На средства, полученные за работу на воскресниках, воздвигли к знаменательной дате памятник-obelisk первым комсомольцам города. На памятнике высечены имена молодых бойцов за Советскую власть и слова:

*«Они свершили
протетеев подвиг,
Нас вырвав
из невежества и тьмы».*

Сейчас Александру Карловичу Вейсу восемьдесят лет. Но он деятелен и активен. Занимается в райкоме партии делами старых большевиков и участников гражданской войны, ведет большую переписку с пионерами и комсомольцами.

Но и этого ему мало.

— Пожалуй, я мог бы пойти поработать на предприятии, — говорит он и смотрит на жену. В его глазах веселый огонек. — Вот только какую мне, старику, работу могут доверить?

Лидия Павловна серьезно обеспокоена. Чего доброго и впрямь пойдет просить работу, с него станет, а здоровье-то совсем не то, что прежде.

— Да... годы идут, а душа-то все молодая. Совсем как шестьдесят лет назад. Кажется, горы бы свернул... Ну, да ладно об этом. Пойду-ка я отвечу моим юным друзьям из Сургута.



ЛЫЖНЯ ВОЙНЫ



Митя Бекетов был моим учеником. Остался со времен войны обрывок конверта, на котором рукой Мити написано: «Полевая почтовая станция 1550, 39 отдельный лыжный батальон, третья рота». Когда я беру в руки этот кусочек бумаги, невольно вспоминаю его самого — рослого, черноглазого и такого скромного, что ребята в школе беспрестанно подшучивали: «Ой ты, Митенька, красна-девица!», при этом Митины щеки заливались румянцем... Митя хорошо бегал на лыжах. Он ушел на фронт со школьной скамьи.

С одним из лыжных батальонов, создававшихся у нас на Урале, ушел на фронт и другой Митя — Полтораднев, мой брат и ученик. От него приходили письма, полные жгучей ненависти к врагу, солдатской святой веры. «Сегодня ночью намерены повытурить немцев из блиндажей на мороз. Они боятся ночного боя, а нам, лыжникам, ночь и лес — лучшие помощники. Скоро пойдем. За меня не беспокойтесь, иду не впервые». И еще писал: «Я не поколеблюсь ни на минуту отдать свою жизнь, если нужно будет для быстрого разгрома фашистов. Не раз уже был на волосок от смерти, но берем мы верх и будем брать над обреченной гитлеровской сворой!» Последней была открытка, на которой брат приписал: «У нас цветет черемуха...» — и такая мальчишеская тоска по дому прорвалась в скупых строчках, что мы, в который раз, прокляли фашистов.

Без конца перечитываем мы и письма Васи Буканова, вместе с его старушкой-мамой, и она все слушает и слушает, и глаз не сводит... Разбираем по датам листки из ученической тетради, сложенные годами сорок первым, сорок третьим, сорок четвертым. К пачке солдатских писем приложены два материнских письма, вернувшиеся с фронта с пометками: «Доставить невозможно».

...Погиб знаменосец 39-го лыжного батальона Митя Бекетов. Погиб связной 40-го отдельного лыжного батальона Митя Полтораднев. Погиб

лыжник второй роты 39-го батальона лейтенант Вася Буканов. Погибли другие бердяшские мальчишки, солдаты Красной Армии, отважные разведчики.

Больше тридцати лет прошло с тех пор. Я начала разыскивать своих учеников еще в годы войны. Знали мы сначала только о троих. Сейчас в списке тех, чья судьба известна, числится 72 воина-лыжника. И поиск я теперь веду не одна — с ребятами нашей 24-й школы; и преемник у меня есть — командир следопытского отряда Юра Пестерев.

По письмам восстанавливаем, где воевали уральцы-лыжники. Из письма Мити Бекетова можно было понять, что лыжные батальоны в декабре сорок первого прибыли в Ярославль. Письма Мити Полтораднева дали знать, что батальоны идут на помощь осажденному Ленинграду, а письма Васи Буканова убедили в этом: он, единственный из бердяшских ребят, дошел до Ленинграда.

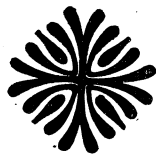
Мы побывали в местах боев под Ленинградом. На могилы павших положили уральскую землю, а домой увезли песок с берегов Волхова — реку форсировали части 2-й ударной армии генерал-лейтенанта Н. К. Клыкова, в составе которой были наши батальоны. Очевидцы рассказывали, что первыми в населенные пункты приходили лыжники...

Долг наш — найти всех. Немного их в живых осталось, но те, кто остались, — откликнитесь! Все, что припомнится оставшимся в живых, поможет поиску. Солдатская судьба и подвиг встанут за большим списком воинов-лыжников, о которых, кроме фамилий, мы пока ничего не знаем. И тогда я буду спокойна: мои молодые помощники доведут дело до конца.

А. И. ПОПОВА,
руководитель группы «Поиск»,
станция Бердяш,
Челябинская область



НЕПОКОРНЫЕ



По весне 1760 года не захотели крестьяне притобольских слобод Утятской, Курганской и Усть-Суерской работать на государевой барщине — пахать десятинную пашню. Обратились всем миром в сибирскую губернскую канцелярию: «Бьем де челом, да просим сложить с нас десятинную пашню...» Ответа не последовало. Вторую челобитную губернатор даже не принял, однако приказал зачинщиков и выборных челобитчиков арестовать и в Тобольск препроводить.

Вскоре появились в Утятке солдаты из Ялуторовска под командой подпоручика Моисеева. Огромный, заплывший жиром, он, к удивлению мужиков, обладал писклявым голосом.

Моисеев проверещал:

— Я из вас дурь-то вытрясу!

Кто-то из толпы возьми да и брякни:

— Боров холощенный, бесноватый!

Тут уж Моисеев совсем разъярился, стал угрожать запороть всех. Над толпой взлетел снова голос, на этот раз женский:

— Кажись, пора бабоньки по домам, а то их бла-

городие как бы кондратий не хватил!

Управитель Ялуторовского дистрикта — административного округа — Панаев знал, кого посылать на усмирение непокорных сибиряков, и не все утятцы попали в тот день домой — 13 смутьянов под конвоем были доставлены в Курганскую слободу.

А потом знатный вельможа в Сенате читал паническое донесение сибирской губернской канцелярии о курганских и утятских мужиках, которые, сговорившись неизвестно когда меж собой, напали на солдат.

Вельможа был человек чувствительный, имел крепостных, которых, для их же пользы, частенько посылал в зачет рекрутов в далекую Сибирь. Поэтому, когда он прочитал в донесении «... с места сбили, и от того их злодейственного нападения явилось у него Моисеева кровавой дубиной знак, у присяжного из сибирской губернской канцелярии сержанта Вялова голова проломлена, у правителя Панаева против самого сердца бито», строчки прыгали у вельможи перед глазами и под ложечкой защемило, как будто били его самого. И дальше он прочитал: «у комиссара Плотникова на спине бито же, а у драгун головы человек до семи проломлены и по спинам руками бито ж».

А в слободе повстанцы



ЧЕЛОБИТЧИКИ

разогнали воинскую команду, отбили арестованных утятских мужиков, захватили пороховой погреб, пушки, ружья. Несколько дней Курганская слобода гудела, как улей. В Тобольск мчались один за другим гонцы из Ялуторовска — местные власти просили подмоги.

И вот в слободе появляется новый отряд из 60 солдат и казаков. Свистят плети, оставляя багровые следы на мужицких спинах. Повидавшие на своем веку немало экзекуций воинские чины диву давались, видя стойкость и твердость слободских вожаков. Три Андрея — Кремнев, Могильников да Тюленев — под плетями и кнутами не запросили пощады. А Тюленев еще и ругался на чем свет стоит, катил всех подряд — и поровших, и власти местные, и губернатора.

Но не зря упорствовали притобольские слободы. На следующий год пришлось губернатору заменить обработку десятинной пашни на государя хлебным оброком. А в 1762 году сенатским указом хлебный оброк был заменен денежным.

Четырех лет не прошло с указа, как снова зашумели, загомонили многие деревни и села Ялуторовского дистрикта. И опять первыми голос подали утятские и курганские слобожане. В далеком Тобольске новый сибирский губернатор Чичерин надумал получить с

мужиков деньги за неубранный ими в памятный жестокой поркой в 1760 году казенный хлеб.

Губернатор знал, что в таком деле одним словом не обойдешься, потому и послал в подкрепление своему приказу воинские команды. События снова приняли нежелательный для властей оборот. В рапорте от 18 февраля 1766 года Чичерин написал, что крестьяне «посланного офицера и команду били и великим числом собравшись в Курганской и Утятской слободах з дрекольем контору разбили, взятых возмутителей под караул отбили и никак к себе не допускают!»

В Утятской слободе народ поднимали крестьяне Семен Новгородов, Андрей Тюленев и Яков Кудрявцев, а в Курганской слободе — Андрей Кремнев. Но силы были неравные. Снова солдаты похватили многих мужиков, пороли их на глазах детей и жен кнутами да плетьюми.

Однако рано торжествовали власть имущие. Когда ушли воинские команды, мужики решили опять попытать счастья. На этот раз написали челобитную и поручили доставить ее в столицу «лутчим мужикам» Утятской слободы Семену Новгородову и Якову Кудрявцеву.

Долгой была та дорога: где с обозом, где пешком через всю Россию. Шли,

смотрели, ужасались нищете и немощи крестьянской. В Москве долго стояли перед Иваном Великим, слушали перезвон малиновый московских колоколов, дивились многолюдству на площадях. А когда добрались до Петербурга, тут-то их сразу и схватили. Прочли челобитную. А потом поротых, потемневших от обиды и унижения посланцев из далеких зауральских краев вывели вон.

Дома старики, выслушав отчет челобитчиков, долго ломали головы, как сделать, чтобы узнали высшие власти в столице об их житье, о неправдах, чинимых слугами государевыми черному люду. Так бы ничего и не придумали, если б через год не дошла до них весть о том, что царица Екатерина II отправилась по Руси и будет, сказывают знающие люди, в Казани. А Казань — не Петербург, до нее меньше сапог стопчешь да и пробиться, поди, к государыне проще.

Новая челобитная была от государственных крестьян, выписных казаков и разночинцев не только Утятской, но и Курганской слободы (Царева Городища). За это сложное и ответственное дело снова взялся Яков Кудрявцев и курганский крестьянин Андрей Могильников, Новгородов наотрез отказался. Разуверился, видно, в возможности передать челобит-

ную в руки царице или порка заставила быть осторожным — кто знает?

Прав оказался Семен. Только приехали в Казань — схватили Могильникова. Яков Кудрявцев хотя и бежал, но в Ялуторовске поймали и его. Вновь челобитчики встретились в столице Сибири, куда их препроводили «для достойного наказания». Там находился и отправленный сразу после волнений в Утятке Андрей Тюленев. Еще одну порку пришлось вынести непокорным зауральцам.

И вот уже по сибирскому тракту по этапу в далекий Нерчинск на каторжные работы идут они с партией ссыльных...

На том все в ту пору и кончилось.

**В. ПУНДАНИ,
Ю. ОСИПОВ**



ЗАМЕТКИ РЫБЬЕГО ХВОСТА

Александр
ЩЕРБАКОВ

Рисунки
Н. Павлова



— Здорово, старшинко! — скумбрия в упор уставилась на «нашу» и как-то особенно дернула хвостом, не двинувшись с места. Возможно, это был приветственный жест. Возможно, и нет. Все зависело теперь от меня, как от заведующего хвостом. Я решил на всякий случай повторить движение. Заказал машине разработку, получил последовательность нажатия кнопок и воспроизвел.

— Здорово! — отозвалась «наша» и по моей команде дернула хвостиком.

Получилось не очень ловко. Согласованности у нас явно не хватало. И «наша» отлетела чуть ли не на полметра в сторону.

Скумбрия удивилась.

— Ты чего дергаешься? — ледяным тоном поинтересовалась она.

Начался тихий переполох.

Словаря у нас не было. Мы как раз и намеревались его набрать. Это был наш первый удачный выход после шести попыток, во время которых что-нибудь ломалось и выходило из строя еще до того, как удавалось пристроить «нашу» в общество ее живых собратьев. По плану первые беседы «нашей» со скумбриями должны были быть построены так, чтобы вызвать партнеров на длинные монологи. Сегодня нам все удалось. И даже начало беседы удалось. У нас уже появилось пять слов: «старшинко», «здорово», «ты», «чего» и «дергаешься». Само по себе даже это было уже грандиозным успехом. Но неужели же сейчас все сорвется, мы погорим, и не миновать нам очередной громоздкой кочевки по побережью в поисках «чистого контакта»?

Все мы с тайной надеждой уставились на Авдеича. Вдруг он сейчас родит гениальный выход из положения! Авдеич вцепился левой рукой в собственную бороду, выпучив глаза, смотрел на микрофон и — молчал. Что тут поделаешь? Соответственно молчала и «наша».

Скумбрия закашлялась.

— Тапловитость не та, — пожаловалась она. — Ономясь угодила в песчанку, так дося

Александр Александрович Щербаков родился в 1932 году. Живет в Ленинграде, работает в одном из научно-исследовательских институтов. Поэт-переводчик, автор фантастических произведений. В нашем журнале публикуется впервые.

скрипла ржвят. Хапарей не видало? — внезапно переменяла она тему разговора.

— Не видало,— густым содрогающимся басом ответил Авдеич и внезапно икнул.

— Балльное! — презрительно процедила скумбрия и вдруг бросилась на «нашу». — Лепетуй отсель, махалява, с наших усачков!

Малейко включил красное табло и гаркнул в радиомегафон:

— Уводи!

И мы семеро, вся двигательная бригада, работали в поте лица, заученными маневрами избавляя «нашу» от контактов с этой гримзой. Пока она не заподозрила, с кем имела честь беседовать.

Поскольку контактные выходы автоматически закрылись, мы теперь могли орать и высказываться совершенно свободно.

— Пеленг! Пеленг давай! — припрыгивал на своей табуретке наш старшой Володя Коршунов, тряся за плечо Алика. У Алика опять «вырубил».

— Тихо вы, мужики! — бормотал он, вытягивая один за другим блочки, тыча в них пальцем и растерянно оглядываясь по сторонам.

— Ирод! Год работы утопим! — кипятился наш старшой. — Табань! — скомандовал он нам.

— Кой дьявол! — счастливо взвыл Алик, выскакивая из-под тента и хватая разъем, распавшийся под чьей-то разгильдяйской пятой.

— Есть пеленг! — на бегу кричал он, прыгая по камням и победоносно вонзая на место вывернувшийся штырь антенны. — Есть пеленг!

— Веди домой! — скомандовал нам Володя. Мы повели.

— ГАИ на вас на всех! Шляются — под ноги не смотрят, — радостно оскорблял нас Алик, возвращаясь на место.

Малейко грузно выбрался из газика, вошел по колено в воду чуть дальше антенны и начал всматриваться.

— Неужели «наша» так далеко ушла? Мне казалось, метров на десять, не дальше.

— Есть! — крикнул Малейко и нагнулся.

— Стоп! — зычно пропел наш старшой и отключил двигательные блоки, а Малейко уже выпрямился, держа в руках замершее торпедообразное туловище «нашей» с растопыренными радужными плавниками.

— Нарроды! Ура!

Мы восторженно орали. Мы устроили дикую хороводную пляску на песке. Мы кувыркались и бросали друг друга в воду.

— Махалява! — ревел Авдеич, брызгаясь и топоча по мелководью. — Махалява! Хапарей не видало!

Мы корчились от счастливого смеха. Со стороны это, наверное, выглядело непотребно. Двадцать пять особей обоего пола, принадлежащие к респектабельнейшему виду «хомо са-

пиенс», отмечали первый в истории обмен мнениями с представителем вида «скомбер скомбрус» гиканьем, визгом и нелепыми прыжками.

Малейко торжественно уложил «нашу» на красный бархат футляра из-под гобоя, пожертвованного Володькой Коршуновым, закрыл футляр и понес его в газик.

В газике сидели Ирочка и Сонечка. Они не прыгали и не орали. Сонечка заполняла первые в мире карточки скумбриянского языка и ставила их в обувную коробку, а Ирочка, закрыв глаза и переплетя пальцы, самозабвенно заучивала новые слова.

— Ирка, кончай! — заревел я. — Завтра! Завтра будешь работать! Лингвист скумбриячий!

— Саня, не мешай, пожалуйста! — Сонечка бросилась подруге на выручку, хотя ее никто об этом не просил.

Ирина ничего не ответила. Даже глаз не открыла.

Итак, у нас есть двадцать две морфемы скумбриянского языка, а в брюхе нашего «Пифагора» переваривается чуть ли не весь его грамматический строй. В общем-то, от этого можно охмелеть и зазнаться. Не мне, конечно. Я что, я рыбий хвост. В буквальном смысле. Сижу за своим пультиком, имею поле на шестнадцати кнопках и на этом баяне могу набрать аккордами умопомрачительное число состояний рыбьего хвоста. Только хвоста. Нас в двигательной бригаде семь душ: головной, левый передний, правый передний, спинной, я — хвостовой, резервный и командир-синтезатор. Много, конечно. Но проще пока не сделать — мала модель. Вот ежели бы кита, скажем, соорудить, то в него можно было бы вместо нас ЭВМ заложить. А в скумбрию — нет. Места мало.

Кроме нас семерых есть еще гидростатист, речевик Авдеич и контролер-системник. Всего моделью управляют десять человек.

Веселее всех Авдеичу. Год готовился говорить на языке, который то ли есть, то ли нет, — никто этого не знал. Вот у него нынче праздник. Поговорил, наконец. Потому и кувыркается от счастья.

Интересно, а ведь никто из нас и никогда этого языка в доподлинном виде не услышит. Увидеть можно. На осциллографе. А услышать нельзя. Триста восемьдесят килогерц. Конечно, можно изготовить пропорциональный преобразователь. В сущности, он и стоит в речевом мониторе. Но ведь это не то.

А главный-то праздник, конечно, у самого Малейко. Быть ему академиком — это точно. Впрочем, какое это имеет значение? Академик, не академик. Главное, он добился своего. Я его мало знаю, а вот Юрий Корнилыч говорит, что он чуть ли не с десятилетнего возраста задумал

с рыбами разговаривать. То ли сон ему такой приснился, то ли бабка сказку о рыбаке и рыбке прочитала по нечаянности в момент формирования личности. Говорят, есть такие моменты в жизни. Всего несколько часов, и сам ты не знаешь, что именно их сейчас переживаешь, а только жизнь твоя после них должна идти так-то и так-то. А если пойдет иначе, то ничего из этого хорошего не выйдет — одно сплошное страдание и для тебя, и для окружающих. Зато если по своей дорожке идешь, то ничего тебе не страшно — все берет на себя категорический императив. Вот и Малейко лет пятнадцать назад, говорят, долбали безжалостно, даже с начальников лаборатории сняли за неперспективность тематики, а он не отступился и все-таки свое доказал: можно с рыбой разговаривать. Через «махалю».

Вот этого я никак не пойму. Как лингвистический монитор изготавливает все эти словечки: «ржвят», «лепетуй», «махалю», — которые человеческим понятиям не соответствуют?

И еще одного я не пойму. Ну хорошо, бились люди, бились, наворотили двадцать тонн оборудования, в модель этой скумбрии столько мысли и труда вложено! Наверное, тысяча человеко-лет. И вот все это они построили. И так это бочком-бочком пристроились к рыбе-скумбрии, покашливали деликатно: «Мол, не скажете ли что-нибудь умное, сестрица?» И открыла им сестрица глубину рыбьей философии. Сегодня махалюва,

завтра махалюва, а послезавтра разговор пойдет на самом высоком уровне — о смысле жизни, это я вам точно говорю. И предположим даже для простоты, что рыбья точка зрения по этому вопросу для нас, людей, особого интереса не представляет. Ну, что там рыба знает о строении Вселенной? Или о происхождении жизни? Но ведь она же говорит! Стало быть, она разумна. Иначе, чем мы, но разумна. Так вот, объясните вы мне, как я эту рыбу буду теперь ловить, варить, жарить и употреблять в пищу? Ведь это нехорошо как-то получается: поговорил («Как там у вас погода?» — «Да ничего. А у вас?» — «И у нас ничего. Все здоровы?» — «Все. Вот только братец из Эгейского моря приплыл. Жалуется. Тапловитость не та.» — «Ах, вот оно что! Благодарю за сведения!») — и на сковородку ее, сестрицу. Ведь нехорошо это!

Так что ж нам теперь, рыбку не есть, одной хлореллой питаться? Поскольку она не говорит. Как тут насчет этики? Или проходить специальный воспитательный курс «Этика употребления в пищу собеседников иного вида»?

Я понимаю, что вероятнее всего я здесь что-нибудь путаю. Я всегда путаю. Вот и с Ириной. Заботился о ней, можно сказать — дорожку пухом выстилал. Когда ее Авдеич за руку дернул и в воду пихнул, так я его чуть не избил. И вот Авдеич ей первый друг, а я — никто. Рыбий хвост. И чтоб стать этим рыбьим хвостом, год учился.



Итак, шестое июля, день мирового открытия. На обед макароны с тушенкой и компот. Посреди лагеря стоит Авдеич и голосит в радиомегатон:

— Он рыбачил тридцать лет и три года и не слышал, чтоб рыба говорила...

Вот ведь — у мужика горло, что иерихонская труба, а без радиомегатона не может...

После обеда Малейко устроил в палатке совещание руководителей групп, а вся наша компания, изнывая от безделья, валялась на песке в теничке за машиной. И я валялся, изнывал и думал: «Ну что я здесь маюсь? Там у них, в палатке, так интересно. Вот встану, войду и сяду. Ведь не выгонят же. Я же не посторонний». И все равно не отваживался. Так бы и провалялся на песке, если бы Аркашка — «спинной» — не начал вслух высчитывать, сколько у него сверхурочных: первые два часа по полуторной ставке, да вторые два часа по двойной... Ничего плохого в этом, конечно, нет: заработал человек, может и посчитать, — только в десятый раз все это слушать уж больно тошно. Я озлился и решил, что робость в себе надо одолевать. Вот Малейко наверняка не робеет. Если бы робел, ничего бы не было. И никто до сих пор не знал бы рыбьего слова...

Рыбье слово, а? Махалаява. Да что она привязалась, эта самая махалаява! Возились-возились, городили-городили, вступили, наконец, в контакт, — и первая беседа, как с торговкой на ба-

заре: «Хапарей не видало? Лепетуй отсель, махалаява, с наших усачков!» Неужели и у рыб есть хамство?

Ой, братцы, запутался я совсем! Ведь мировое же открытие! Ми-ро-во-е! А тут от жары да от досужих размышлений мозги в клейстер расплазуются...

Я встал и пошел в палатку. Вошел и сел на песок. Жара там была невероятная. И табачного дыма — не продохнуть. А поднять полы никто не догадался. Я встал и начал подвязывать полы.

Говорила Ирина:

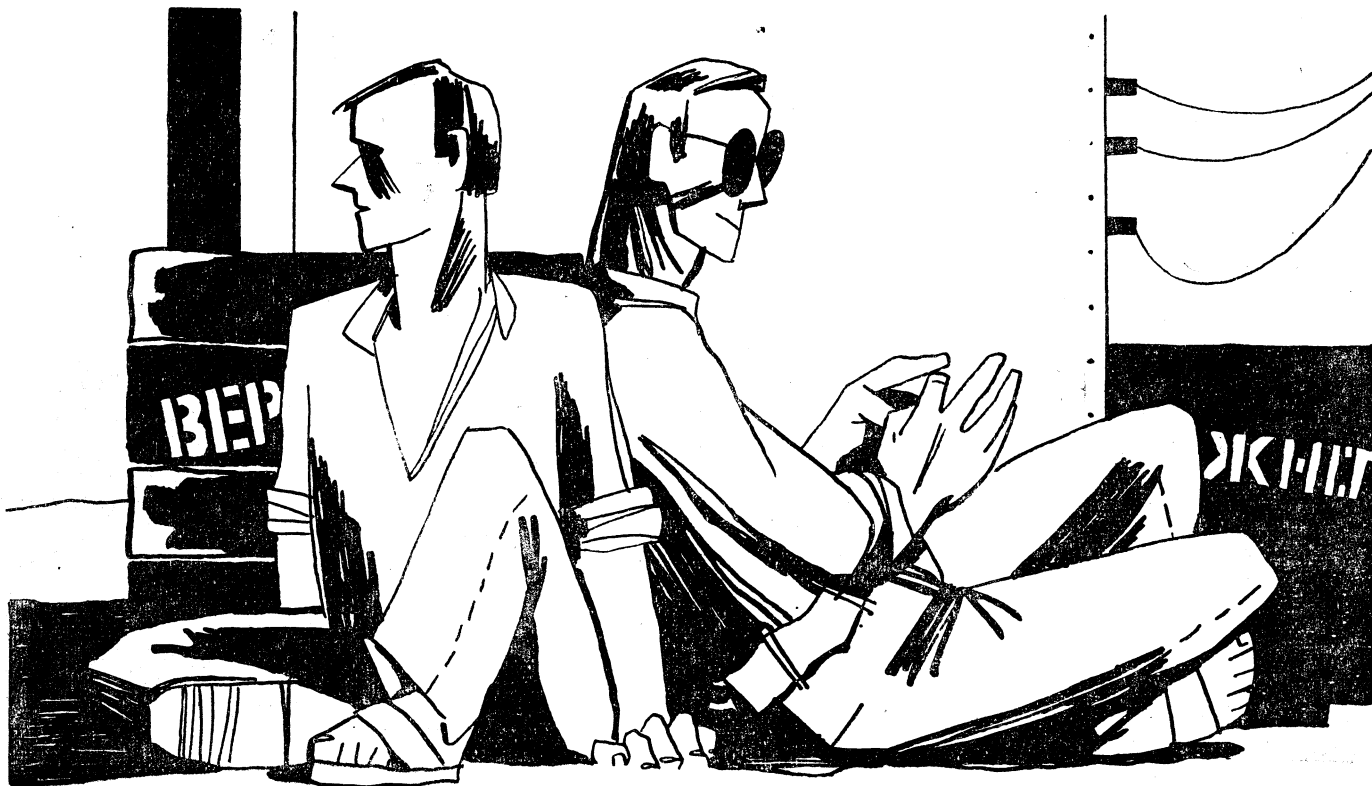
— Я не утверждаю, что это дефект схемы. Но факт остается фактом: монитор не может перевести ряд понятий на человеческий язык. Это естественно. Но почему же он при этом сам начинает конструировать морфемы? По каким законам? Что ни говорите, у меня возникает сомнение. Не являются ли и «человеческие» толкования монитором определенных слов и связей таким же лингвистическим волюнтаризмом, как и все эти подозрительные конструкции? Вот что мы обязаны выяснить в первую очередь.

Юрий Корнилыч осоловело посмотрел на меня, воткнул окуроч в банку и спросил:

— Что, Саня?

— Ничего. Я так, послушать.

Юрий Корнилыч одобрительно кивнул, зажег новую сигарету, но так до рта и не донес. Ему дали слово.



— Ира, вы зря вкладываете столько страсти, — сказал он и начал оглядываться, выискивая, куда бы положить сигарету. И ткнул ее в ту же банку. — Подумайте, перед нами стояла вообще химерическая проблема — запрограммировать монитор на синхронный перевод с языка, о строении которого мы ничего не могли ему сообщить. Но с чего-то надо же было начинать! Вот мы и начали. Естественно, что имел место, как вы изящно выразились, волюнтаризм. Без него мы ничего бы не сделали. Наш путь — это путь последовательных приближений.

— А меня, Юрий Корнилыч, — Ирина прямо взвилась, — меня больше чем удивляет ваша... ваше упорное стремление топтаться на одном месте. Три месяца назад я вам говорила о логисторных схемах! Три месяца! Где логисторы? Я работы не боюсь. Да. Но я не буду идти пешком из Керчи в Вологду, когда есть самолеты. Есть работа бессмысленная, и вот ею никто меня заниматься не заставит. Никто!

— Вопрос о логисторах мы обсуждали с Семеном Владимировичем. Это зависит не от меня. Вы знаете наше финансовое положение. Мы не могли пропустить кампанию этого года, мы не можем бесконечно менять схемы, и без того стоящие больших денег.

— Товарищи! — Малейко потряс палаточный шест. — Товарищи, не туда вы идете! Да, все это фантазмагория. На девяносто процентов. На девяносто пять. Но пять-то процентов реальности у нас в руках.

— Я считаю, — тихо сказал Корнилыч, — что еще по крайней мере два десятка опытов надо провести, ничего не меняя в аппаратуре.

— Так что же, нам до конца сезона писать все эти электронные махалявы? — всплеснула руками Ирина. — Это же нелепо!

Вон оно что! Значит, с одной стороны, язык рыбий, а с другой — вовсе и не рыбий. И с одной стороны, открытие вроде бы есть, а с другой — недолго нас и по кочкам понести!.. Но самое худое то, что у меня нет собственной точки зрения. Вот спросили бы меня, а что я думаю, так что бы я сказал? Что я со всеми согласен? Конечно, меня никто спрашивать не станет. Ну, а вот если бы спросили? Как оно с точки зрения рыбьего хвоста? Все правы? Ерунда какая!

Иметь собственное мнение — вот чему надо учиться. Но можно ли этому научиться? Или это черта характера — не заложено в гене или потерялось при раскладке, и так уж и будешь всю жизнь туда-сюда болтаться?

В пять вечера мы начали второй сеанс. Малейко вынес «нашу» и опустил ее в воду. Мы ее подхватили и повели чуть влево, к камням, где ребята гидрофоном засекли стаю скумбрии.

Громко сказано, стаю. Штук сто, не больше. По дороге провели пятиминутную тренировку на согласованность движений. С правым передним плавником получалось не очень хорошо, и наш старшой сделал Димке небольшой втык по ходу дела. А по-моему — да, по-моему! — Димка здесь ни при чем. Там какая-то связка барахлит, и это дело наладчиков. Димка смолчал, только скулы заходили. Может, оно и правильно, что смолчал. Но я бы не смолчал, поскольку стал вырабатывать собственное мнение. Конечно, от этого будут неудобства, но, наверное, так надо.

Стайку мы увидели довольно четко. Рыбы неподвижно висели в воде, чуть шевеля плавниками. Мы пристроили «нашу» справа от стаи и дали пять минут на тренировку головному. Он шевелил жабрами и ртом. По образцу. Тем временем наблюдатели осторожно подвинулись к стайке телекамеру, чтобы все это видеть со стороны.

Все шло, как по маслу. Малейко погасил красное табло, зажег желтое. Вводились контактные выходы, нужна была полная тишина. Мы «дали» тишину, и Малейко включил зеленое табло.

И тут на кадр надвинулась стремительная черная тень. Из динамика донесся вопль:

— Хапаря!

Стайка дернулась в сторону, раздался отвратительный хруст.

Съел! Он съел «нашу»! Схрумал тысячу чело-веколет труда!

Телекамера еще не подошла вплотную, но потом по записи ребята разобрали, что это был дельфин. Он бесшумно подкрался к стайке с той стороны, где мы пристроили «нашу». Она была крайняя, и он ее сожрал без зазрения совести! Спорили-спорили, как нам работать, а он все за нас решил одним ударом челюстей. Запасной у нас нет. То есть она была. Это «наша» была запасная. А первую побили на бассейновых тренировках и еще не отремонтировали. Конечно, чертежи и схемы есть. Мы все повторим. Но это же год жизни!

Говорят, дельфины весьма разумны. Но как же он не разобрал, где железка, а где рыба? Вот хапарюга!..





● **Здесь
погибли
разведчики**

Группа «Поиск» сельского профтехучилища № 6 в Выборге задалась целью найти место гибели Героя Советского Союза Н. И. Винникова. Ключ к поиску дала карта военных лет, сохранившаяся в государственном архиве. Она привела ребят в село Красносельское. Здесь, в лесу, неподалеку от шоссе начальник разведки минометного полка Винников и его товарищи приняли последний бой. После войны осталась в этом месте братская могила. Останки воинов жители перенесли на поселковое кладбище.

Учащимся профтехучилища совместно с сельскими следопытами удалось установить еще три фамилии разведчиков, погибших вместе с Н. И. Винниковым: сержант А. Ф. Трофимов, рядовой И. В. Голицын, старший сержант В. С. Дроздов.

можно узнать в школьном музее. Ребята воссоздают историю Тимирязевской сельскохозяйственной академии.



Этот пакет пришел юным следопытам 249-й школы Москвы. «Штабу боевой славы...» — прочитали на нем ребята. Кто же это откликнулся? Ветеран 4-й танковой дивизии, боевой путь которой проследили школьники, или один из разыскиваемых фронтовых врачей? Если врач, то в папке «Медики отдельного медсанбата» появится новый адрес...

А в конверте оказались ноты! Композитор Александра Пахмутова прислала в дар следопытам свою новую песню «Кто отзовется?» Ребятам школы № 249 А. Пахмутова предоставила и право первого исполнения песни.



Моряк, летчик, санструктор, токарь, ученый — таковы профессии, бывшие и нынешние, приглашенных на встречу с ребятами гостей. И удивительное только в том, что все приглашенные были женщины...

Ребята семнадцати ленинградских школ разузнали о трудовых делах сво-

их матерей, сестер, бабушек. Они побывали на Ижорском заводе, в Адмиралтейском объединении, на фабрике «Рабочий», в речном порту. Эту поисковую работу школьники посвятили Международному году женщины.



Сорок шесть траулеров Мурманского тралового флота в войну подняли боевые флаги — они несли службу как сторожевые корабли, тральщики. Многие слышали о героической гибели корабля «Туман», повторившего подвиг «Варяга». Но мало кто знает, что в тот же день, 10 августа 1941 года, вражеские эсминцы напали на РТ-32 «Кумжа», и траулер, у которого были прострелены борта и рубка, выбросился на мель недалеко от Гаврилова маяка... В сорок втором погиб в дозоре рыболовный траулер «Засольщик».

СЛЕДОПЫТАМ МУРМАНСКИХ ШКОЛ: займитесь выяснением судьбы членов экипажей РТ-32 «Кумжа» и РТ-15 «Засольщик» и других погибших кораблей. Кто был в команде? Может, кто-то спасся и жив поныне, и смог бы назвать фамилии тралфлотовцев?



● **Музей
Тимирязевки**

● **Кто
первым
спел песню?**

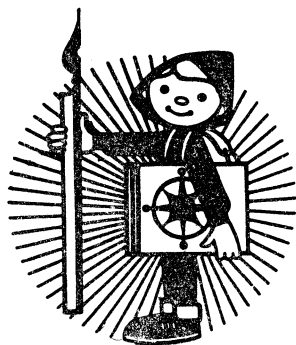
● **Мамы
разные
нужны...**

● **Найди!**



Многого не знали раньше о своем Тимирязевском районе ребята из московской школы № 848 — о том, что застройка района была начата еще во времена Петра I, что по аллеям нынешнего Тимирязевского парка любили гулять Чехов и Куприн, что в сельскохозяйственной академии учился писатель Короленко...

Теперь обо всем этом



следопытская

ХРОНИКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА

А если без романтики...

Человек выбрал в 17 лет специальность. Она казалась ему единственно привлекательной — такой, которая могла дать удовлетворение на всю жизнь. А в 27 лет, окончив институт и успев поработать не один год на избранном поприще, он, не то чтобы разочаровался, просто уже не испытывал прежнего восторга: работа как работа... Ни яркости, ни ореола романтики — ежедневные обязанности, кое-где успехи как награда за добросовестность. Человек будет выполнять эту работу всю жизнь, делать ее нормально — только потому, что он не бездельник и привык к ответственности. Ну, вот говорят про некоторых: «ходит на работу, как на праздник». А он будет ходить на работу, как на работу.

Наверно, это неизбежно: люди с годами начинают смотреть на свою профессию более трезво. А я боюсь этого «потускнения». Хотелось бы сохранить то отношение к своему делу (для себя я уже выбрала его), которое есть сейчас: пылкое, восторженное...

Если к тридцати годам я потеряю интерес к работе — значит, сама где-то остановилась, ограничила себя, не захотела найти что-то новое, увлекательное в своей области. Все зависит от самого человека: он может сделать свою работу праздником, а может превратить ее в сплошные будни.

**Катя ДОЛГОВА,
9-й класс**

Я очень люблю животных. Раньше хотела стать ветеринаром (у меня мама ветсанврач), но потом поняла, что не смогу, потому что, если я вижу кровь или мучения животного, мне до того становится его жалко, что я плачу. Знаю, слезами горю не поможешь, но ничего не могу с собой поделать. У меня как-то умер котенок, так я редела чуть ли не весь день. Мама мне рассказывала о своей работе, и я знаю, что ветврач не только лечит, но и «усыпляет» в случае необходимости своих четвероногих пациентов. Я этого не смогу делать.

Я наверное могла бы дрессировать животных, у меня терпения на это хватит, я уже это испробовала на своих питомцах-кошках, у меня их три. Да, если бы мне разрешили, я бы заполнила разными животными всю квартиру. Если бы можно было стать дрессировщицей... Но я даже не знаю, где учатся этому делу. Еще меня смущает то, что я девчонка, а не мальчишка.

Вот почему, в конце концов, я решила после восьми классов поступать в училище на фельдшера. Эта профессия мне тоже по душе (правда, немного меньше, чем две первые). Я люблю уроки анатомии, зоологии и ботаники, не боюсь делать людям уколы (я уже делала их маме), и даже, представьте, человеческой крови не боюсь и не теряюсь в случаях, когда с кем-то на моих глазах происходит не-



счастье: откуда только берется хладнокровие, слез и в пине нет — как могу, стараюсь помочь.

Что ж, я думаю, если профессия окажется по душе, то работать никогда не надоест. Может, соприкоснувшись вплотную с работой фельдшера, я ее полюблю по-настоящему, на всю жизнь.

Лида Е.

После седьмого класса я решил поступить в Лениногорский политехникум на отделение «Сварочное производство», но не прошел по конкурсу, и в том же году поступил в Лесной техникум. Проучившись семестр, я понял, что профессия лесника мне не по душе. Поехал в Алма-Атинскую область и там устроился работать в совхоз. Закончил курсы трактористов, затем без отрыва от производства кончил курсы комбайнеров и токарей и одновременно восьмой класс. Осенью работал на комбайне, зимой — токарем, весной — на тракторе и следующей осенью — опять на комбайне. Затем окончил курсы шоферов и стал работать на автомашине. В 1970 году поступил заочно в Семипалатинский автомеханический техникум, а нынче буду защищать дипломную работу. Практически я освоил за это время еще газо- и электросварку, хотя, как говорят, «корочек» на сварку у меня пока еще нет. На строительстве могу выполнять почти все работы, начиная с фундамента (бетонные работы), потом кладка стен (каменщик) и кончая кровлей (плотник). Имею удостоверение автокрановщика. Но я все еще не удовлетворен. Мне хочется еще большего. Мне хочется знать все по механизмам и механизации, но, как известно, нельзя объять необъятного, и потому получается: я знаю, что ничего не знаю. А как узнать все?

Лев
КОРОВНИКОВ,
Восточно-Казахстанская область

Я хочу быть радисткой, но в нашем Приморском крае радистов готовят для работы в море, поэтому на курсы принимают только ребят.

Так неужели одни только мальчишки мечтают о море?

Наталья КОВЕРА

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

Я долго не решалась написать вам письмо, но когда подошел к концу учебный год, в конце концов, решилась: у меня просто нет другого выхода.

Я заканчиваю восьмой класс, учусь на «отлично» и очень люблю астрономию, хотя мы ее еще не проходим. Люблю я и физику — из-за задач, говорят, что у меня неплохие математические способности, — но физику я все же люблю не так, как астрономию.

Раньше я больше всего любила читать военные книги, но однажды мне в библиотеке дали книгу «Занимательная астрономия» Я. И. Перельмана, и с тех пор круг моих интересов замкнулся. Я прочитала десятка два книг: «Загадки Марса», «Бесконечные тайны Вселенной», «Невидимый Космос» — Зигеля; «Межпланетные путешествия» — Перельмана; «Физика для любознательных» — Эрика Роджерса; «Популярная физика» — Джерджа Ориа; «Физика для всех» — Ландау и Китайгородского и ряд других.

Но вот что удивительно: чем больше я читаю, тем сильнее чувствую, как мало я знаю своей любимой предмет...

Пожалуйста, посоветуйте, что мне еще читать по астрономии и где взять книги. Может быть, их можно выписать. Я уже не могу без них.

У нас в школе есть телескоп, но он всегда под замком, им никто не пользуется. Если бы мне разрешили, я бы смотрела в него каждую ночь. Но кто мне его даст? Он ведь школьный.

Надо мной некоторые смеются, говорят: «Физик!» Пусть смеются. Вот если бы иметь свой собственный телескоп или хотя бы подзорную трубу, я бы стала самым счастливым человеком на земле!

Фаина ШАЙДУЛИНА,
г. Белорецк

ДОРОГАЯ ФАЯ!

Мы познакомили с твоим письмом заместителя заведующего кафедрой астрономии и геодезии Уральского госуниверситета имени А. М. Горького, кандидата физико-математических наук Виталия Владимировича Сырового. Вот что он нам сказал:

— Я посоветовал бы Фае Шайдулиной подписаться на журнал «Земля и вселенная», в котором, помимо доступных для понимания старшеклассников статей по астрономии, публикуются списки рекомендательной литературы. Фая может написать нам на кафедру по адресу: г. Свердловск, К-83, пр. Ленина, 51, Уральский госуниверситет, кафедра астрономии и геодезии. Ознакомившись со списком прочитанных ею книг, мы могли бы посоветовать ей, что читать дальше. Мы могли бы также предоставить ей возможность побывать в нашей университетской обсерватории и посмотреть на небесные светила в настоящий телескоп.

Я уже больше года занимаюсь в фотокружке, выполняю практические задания, а также изучаю теорию фотододела.

Очень хочу узнать ваше мнение о моих фотографиях. Для меня это важно: я хочу стать фотокорреспондентом.

Ученица 10-го класса
Чернорецкой средней школы № 1
ЖИДКОВА Наташа

Редакция: вот наше мнение!



С КОЛОДЦА. Фото Н. Жидковой



Вилуйские алмазы

Жил на Вилуе человек, жадный до всего нового, влюбленный в свой край, постоянно заботившийся о его расцвете. Он не был геологом, но занимался геологией. Это был вилуйский учитель, впоследствии коммунист, один из первых Героев Труда в стране Петр Хрисанфович Староватов.

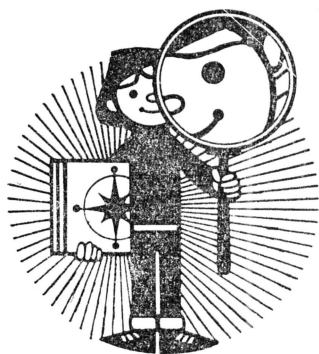
Лет за десять до Великого Октября работал он в школе села Эльгяйцы возле Сунтар. Однажды приехал к нему знакомый якут и рассказал интересную новость. На другой день учитель написал заметку, отправил ее в Якутск, в газету «Якутская жизнь». А писал он, между прочим, вот что:

«...В одной из речек, вливающихся в р. Вилкой с правой стороны, татаринном Капылла найдено около 3 золотников золота и 1 камень, как слышно, из породы драгоценных. Раскопки Капылла произвел в семи местах и на небольшую глубину в январе и феврале сего года.

Если действительно откроется здесь месторождение, то, надо надеяться, изучение недр Вилуйского округа пойдет быстрыми шагами и нашему мертвому краю, быть может, выпадет счастье примкнуть к семейству промышленных стран. Пожелаем своей стране хорошего будущего».

Заметку опубликовали, но она, видимо, никого не затронула, хотя автор намекал на находки драгоценных камней. И только в советское время геологи начали изучать недра вилуйского края.

На снимке можно прочесть знакомое ныне всем слово «Якутия». А составлено оно из знаменитых вилуйских алмазов, о которых мечтал учитель. Ныне они в изобилии добываются в Западной Якутии.



М И Р

на лагони



Музей станционного смотрителя

Самсон Вырин. Это имя известно всем — так звали пушкинского станционного смотрителя, «мученика четырнадцатого класса», как назвал его автор «Повестей Белкина».

Еще в 1925 году был выпущен немой фильм «Коллежский регистратор». Вырина сыграл Иван Москвин.

Хозяин почтового двора Самсон Вырин и его дочь Дуня жили в селе Вира, где бывал Александр Сергеевич Пушкин. Когда-то через Виру проходил почтовый тракт, и стоял в деревне верстовой столб: «До Петербурга 69 верст. До Пскова 239 верст».

Разные бывают музеи:

литературные, военные, краеведческие. Этот музей посвящен литературному герою.

Началось с того, что колхозники местной сельскохозяйственной артели имени В. И. Ленина решили реставрировать «Домик станционного смотрителя» — пушкинского героя. Экспо-

зицию почтовой станции подобрали специалисты из Всесоюзного музея А. С. Пушкина.

И вот появился тот самый верстовой столб, сноза стал жилым домик Самсона Вырина. Один зал музея станционного смотрителя посвящен тому, как Пушкин работал над повестью.



Рекорды по чистоте

Годовая продукция веществ десятки граммов. Но именно такие количества веществ рекордной чистоты выпускают институты Академии наук СССР, чтобы использовать их в научных экспериментах.

В ближайшее время будут построены заводы по производству веществ особой чистоты — ведь потребность в них у науки быстро растет. Создается выставка небывало чистых элементов и их летучих соединений, полученных в нашей стране. Цель выставки — помочь распространить передовой опыт в многотрудной области очищения веществ.

Снегоход-вездеход

Ю. Русских работает главным врачом Ягодинской участковой больницы. Глухомань это: глубинка Ханты-Мансийского национального округа Тюменской области, топи, бездорожье — только вертолетом туда и можно долететь. Но места там благодатные — и леса есть, и дичи полно на болотах, и рыбы в реках...

А Юлий Васильевич — страстный любитель природы, он и художник — делает из коряг и сучьев статуэтки, был участником многих выставок «Природа и фантазия».

Как же в Ягодном по лесам и болотам бродить? Нашел выход главврач, сделал он себе наземный «вертолет».

Вот он сидит на своей машине. Мотор от «ИЖ-Планеты-3», две лыжи, гусеницы из транспортной ленты... Летом ставит колеса вместо лыж. Мотор расположен высоко, и машина идет по лужам, как по твердой земле.

Проходимость мотонарт Русских — можно и так назвать этот транспортный агрегат — высокая.

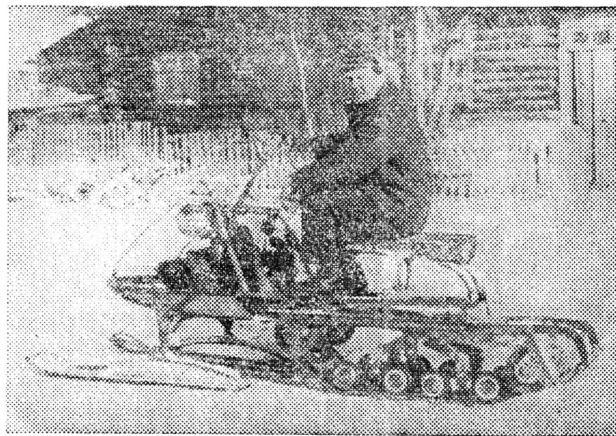


Дружба с гадами

В квартире бакинского биолога А. Чегодаева живет гребнистый крокодил. Аллигаторы этого вида достигают длины десяти метров. И понятно, что квартирному крокодилу придется в будущем перекочевать в зоопарк. Пока же он прижился в домашнем зоопарке, хотя соседи у него весьма беспокойные: это индийский удав, водяной щитомордник, тигровый питон, вьетнамская ящерица, варан, гюрза... Страшная семейка?

Хозяин квартиры говорит:

— Со змеями и крокодилами можно жить под одной крышей интересно и весело!





У ИНКОВ БЫЛИ ТАКИЕ ЗАКОНЫ

Инки, древняя цивилизация которых длилась пять веков, с большим уважением относились к природе. Пахотные земли строго сохраняли, применяли ценное удобрение — гуано, и расходовали его рационально.

Морские птицы находились под охраной закона,

и за такой проступок, как сбор яиц, полагалась смертная казнь. Охота разрешалась один раз в четыре года. А охотиться можно было только на оленей и на некоторые виды лам. От других видов лам разрешалось брать лишь шерсть. После стрижки отпускали их.



Удивительные лаки

На японских островах произрастают опасные для здоровья человека деревья, дающие живицу — сок, из которого получают дорогой лак.

Лаковое дерево растет и в советских субтропиках — в ботанических садах Батуми и Сухуми. Таблички возле деревьев, обнесенных проволокой, гласят: «Под кроной стоять опасно!» Почему? Ствол, ветки, листья лакового дерева покрыты растительным воском. Стоит прикоснуться к ним — жди беды: на руке появится опухоль. А если упал на незащищенную часть тела лист — будет нарыв.

Зато какой чудесный лак делают из сока этого дерева. Лаку не страшен ни кипяток, ни кислоты, ни спирт, ни щелочи.

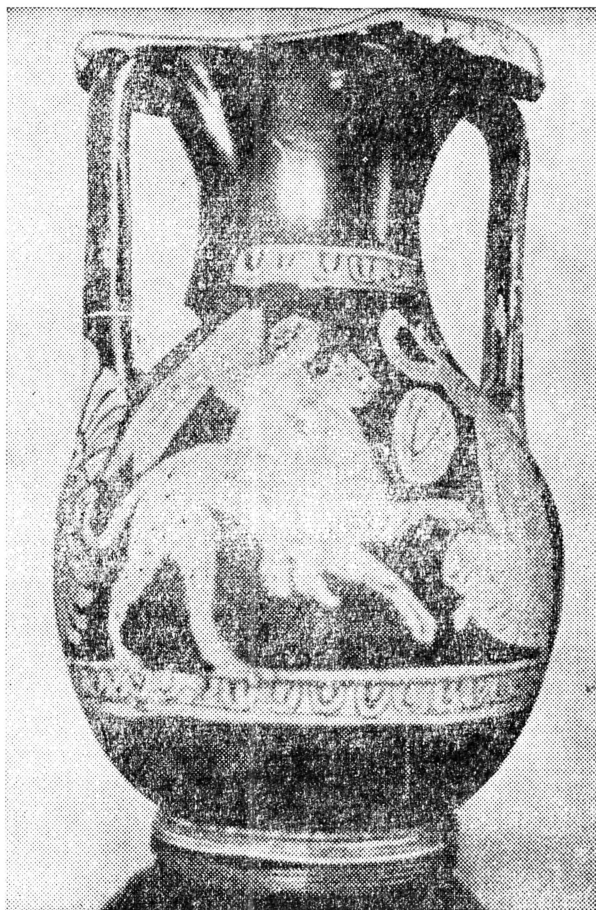


Пикантные кушанья

Многие народы имеют пристрастие к тому или иному пикантному кушанью. Японцы, китайцы, негры, австралийцы, итальянцы любят блюда из змей. В Калифорнии варят суп из куколок бабочек. Любимым кушаньем жителей острова Ява являются личинки майского жука. Австралийцы в дни праздников готовят суп из хвостов кенгуру, жаркое из

различных сумчатых животных и десерт из гусениц и червей. Французы предпочитают кушанья из лягушек. В Индии используется в пищу мясо зубатой ящерицы — игуаны. На праздничный стол жителям острова Шри Ланка подаются блюда из ног слона с пальмовым уксусом и горьким перцем. Китайцы едят саранчу.

Е. СУРОВ



Боспорская пелика

В фондах Свердловского краеведческого музея хранится замечательная коллекция древнегреческих изделий — краснолаковые и чернолаковые сосуды, светильники, флакончики для духов, кирпичи-плинфы, гончарные водопроводные трубы, детские игрушки...

Наибольшую ценность представляют сосуды с рисунками. Это — чудо античного гончарного ремесла. Тайна химического состава красок на сосудах не разгадана пока.

Краснофигурный двуручный кувшин — так называемая боспорская пелика — особенно хорош. Он сравнительно невелик по размерам: высота — 27,8 сантиметра, наибольший диаметр — 17,7 сантиметра. На внешней стороне сосуда — две сцены. Сюжет одной — мифологический: крылатая богиня, восседающая на пантере.

Ваза имеет, как и всякий глиняный сосуд, изготовленный на гончарном круге, идеально симметричные пропорции. К тому же сосуд необычайно легкий, почти невесом.

За две с половиной тысячи лет на нем не образовалось ни одной трещинки.

Любопытно было бы разгадать технологию приготовления столь прочной глины.



Из библиотеки Ивана Куратова

Исполнилось 100 лет со дня смерти первого коми поэта, основоположника коми литературы и литературного языка, ученого-лингвиста Ивана Алексеевича Куратова. Литературно-мемориальный музей И. А. Куратова в Сыктывкаре подготовил к этой дате новую экспозицию. Среди экспонатов ее привлекает внимание одна книга.

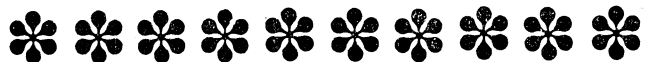
Личная библиотека поэта после его смерти оказалась у брата — Вонифатия, священника в с. Печорское (ныне Троицко-Печорск). После смерти Вонифатия книги попали в Печорскую народную библиотеку. В 1919 году село заняли белогвардейцы. Библиотеку взяли под штаб, книги выбросили в дровяной сарай, часть сожгли.

В апреле 1975 года работники музея обратились через газету к жителям Троицко-Печорского района с

просьбой посмотреть, нет ли у них среди старых бумаг книг из библиотеки Куратова. Через несколько дней пришло письмо с радостной вестью. В. В. Попов, почетный гражданин Троицко-Печорска, с 30-х годов хранил книгу. Это — «История философии» Бауэра, перевод с немецкого под редакцией М. Антоновича, СПб, 1866. На титульном листе — знакомый почерк, запись, сделанная рукой поэта: «Библиотека Ивана Куратова».

На страницах книги — многочисленные пометы, тоже сделанные рукой Куратова. Содержание их говорит о материалистических взглядах поэта. В некоторых пометах содержится резкая критика существующих порядков царской России.

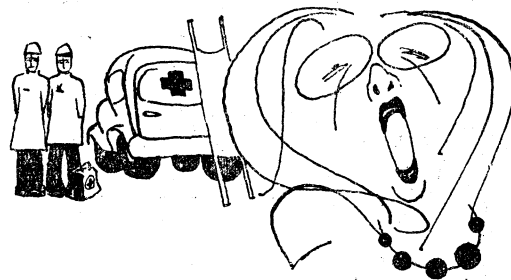
«История философии» Бауэра — пятая книга из библиотеки Куратова в его музее.



Радуга в недрах

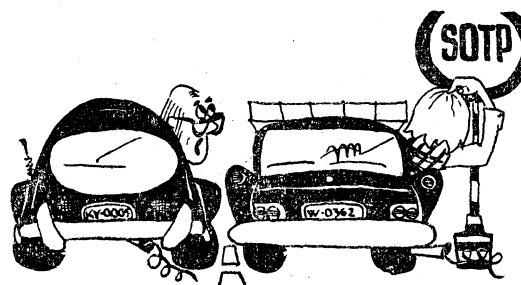
На Урале открыто богатое месторождение серого мрамора. Его запасов хватит большому заводу на сто лет. Такой завод проектируется. Он сможет дать градостроителям полмиллиона квадратных метров мраморных плит в год.

В районе Новоивановского месторождения геологи обнаружили декоративный мрамор и других цветов — золотистый, черный, с белыми вкраплениями кораллов на темном фоне.



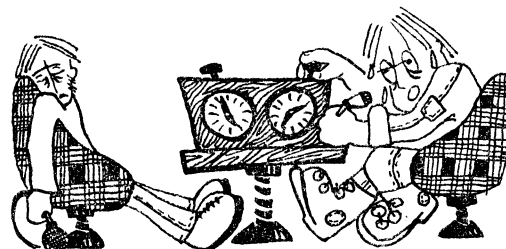
Травма на эстраде

Исполняя перед публикой свою любимую песенку, американская певица Ширли Бассей вдруг почувствовала резкую боль в боку. Рентгеновский снимок показал, что во время пения у нее... сломалось ребро. Хирургов это не удивило. «Даже от сильного кашля у человека может сломаться ребро. А при такой манере петь, какая характерна для Ширли Бассей, подобная производственная травма вполне возможна».



«СОП»

На улице одного западногерманского городка был установлен дорожный знак «СТОП». Возле него машины останавливались сравнительно редко. Тогда дорожники заменили его новым: «СОП». С тех пор возле этого знака останавливается каждый водитель автомобиля. Шоферы выходят из машины и подолгу разбирают «ошибку» дорожников.



Эти говоруны!..

Сколько времени подряд способен говорить человек? Английский студент Тревор Кук два дня и две ночи без умолку декламировал драмы Шекспира «Макбет», «Гамлет», «Ричард III», «Генрих IV» и частично «Отелло». Впрочем, это достижение кажется ничтожным по сравнению с рекордом, какой установил диктор перуанского радио: 148 часов подряд читал он жителям Лимы последние известия. Другой перуанец, журналист и оратор Хозе Кабрейос Москосо, оказался еще выносливее: он говорил 156 часов без отдыха!



Вместо кисти- ножницы

Н. АНДРЕЕВА



Семен Надеин берет обыкновенную бумагу и ножницы; два-три плавных движения — и получается облако, осторожный срез справа и слева — вот и оленьи копыты, несколько раз неуловимо повернется лист в руках художника — и оживет резной папоротник... Тонконогий олень наклонил кудрявые рога и тянется губами к грибу. Семен Надеин знает повадки зверей — дед и отец его были потомственными охотниками; вот и этот маленький гриб, к которому потянулся олень, не случаен — осенью олени во множестве поедают грибы, запасаются на долгую зиму витаминами.

Семен Надеин принадлежит к роду нивхов. Это маленькая народность, искони населявшая остров Сахалин и приморские

области. Не всякий народ имеет такую интересную историю: Советская власть вырвала нивхов из тьмы первобытного строя, дала им письменность, предоставила им прекрасные поселки, интернаты, возможность учиться.

В работах Семена Надеина живет древнее искусство нивхского орнамента — оригинальное искусство народных декораторов. Орнаментами украшали предметы домашнего обихода, наносили их на рыбу и лосиную кожу, бересту, дерево, нашивали на меховую одежду. Семен Надеин избрал своим материалом обыкновенную бумагу. Причудливые узоры рождают рисунок живой и древний: картинки природы, сцены из жизни нивхов.



КАК ДВАЖДЫ ДВА...

Эпиграммы

Игорь

ТАРАБУКИН

Вещи

Здесь мебель счет годам ведет:
Сервант — скалы подобие —
И полированный комод
Сияют, как надгробия!

Характеристика

Не плут, не лодырь, не зуда,
Не пьет...
Все — «НЕ...»
А что же — «ДА»!

Всему свой срок

Всему свой срок: в младенчестве — забавы,
Дерзання — в юности, а в старости — покой.
И жалок тот, кто в юности кудрявой
Бредет с благоразумною клюкой!

Копия

Петров с холста, как бог, глядит на нас.
Жаль, в жизни у него с портретом сходства мало.
Но это подтверждает лишний раз,
Что копия бледней оригинала.

Морщины

Мы чтим премудрость старцев чинных.
Но вместе с тем примеров тьма,
Когда морщины — лишь морщины,
А не извилины ума!

Несоразмерность

Цветаста речь, но не нова.
И фразы, выпорхнув, повисли...
В большие, громкие слова
Одеты ма-а-ахонькие мысли!

В королевстве Датском

Не счесть курьезов в королевстве Датском,
И Гамлетов судьба там нелегка:
Повсюду славят разум, но по-братски
Дурак оберегает дурака!

Античная надпись

Вырос смекалкой баран
чуть выше уровня стада.
Первым вниманье привлек,
первым пошел... на шашлык!

Собрание

Вчера проходило собрание
С повесткой: «Задачи искусств
и рост молодых дарований.
Докладчик — товарищ Прокруст».

Флюгер

Внимая всем ветрам в округе,
Сверяя с ветром каждый шаг,
Как часто мнит обычный флюгер,
Что он и есть эпохи флаг!

Исповедь дельца

Все «за» и «против» подытожив,
Со вздохом к выводу придешь:
Конечно, истина дороже...
Но много выгоднее ложь!

Бразды

Извилист сложный путь таланта —
Вдруг заведет да «не туды»!!
И бог придумал дилетанта
И в руки дал ему бразды!

Внушение

Дела ясны, как дважды два.
Но вот звучат слова, слова...
И все запуталось опять,
И дважды два в итоге — пять!

Акселерация

Говорят теперь в народе
По-иному о мальчиках:
Что с них спросишь!!
Молоко-де
Не обсохло на... усах!

А вдруг Моцарт!?

Чихнул сын не обычно,
А как-то мелодично...
И мать пустилась рьяно
В бега за фортепяно!

К вопросу о моде

В жизни можно выделяться
Мастерством, душой, делами,
Мыслью, высказанной вкратце...
В крайнем случае — штанами!

Борьба за успеваемость

Получил Серега двойку
На беду учителю:
Ох, задаст головоюлку
Педсовет мучителю!

Свидание

Ни слов, ни мыслей, лишь — зевота.
Сидят, молчат... Она и Он.
Об интеллекте все заботы
Взял на себя — магнитофон!

Окружение

Мы теперь зовем природу
Окружающей средой.
Стали чахлый лес и воды
Окружать и впрямь бедой!

Взрослые дети

Сын и женат, и при усах...
Уже седьмое лето
Стоит на собственных ногах
Но... в папиных штиблетах!

При всем, при том

Что довод «слабый пол» развенчан,
Тем восторгаться нет причин.
Все больше мужественных женщин,
Все больше женственных мужчин!

Любовь?

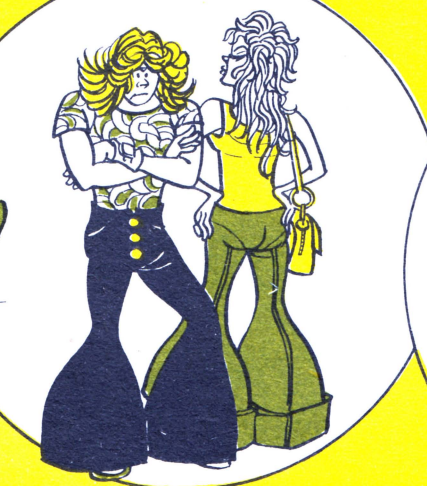
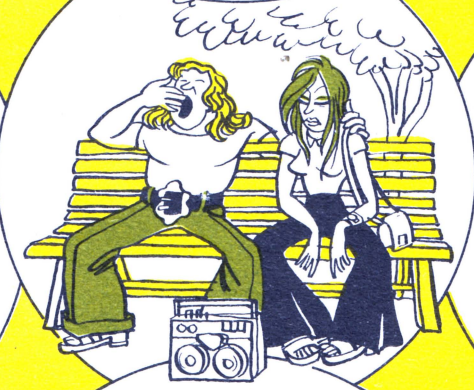
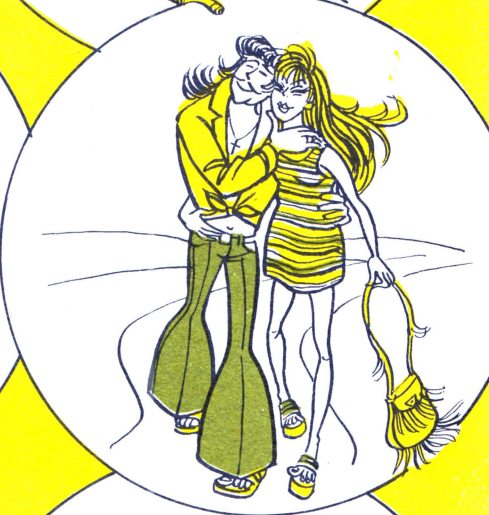
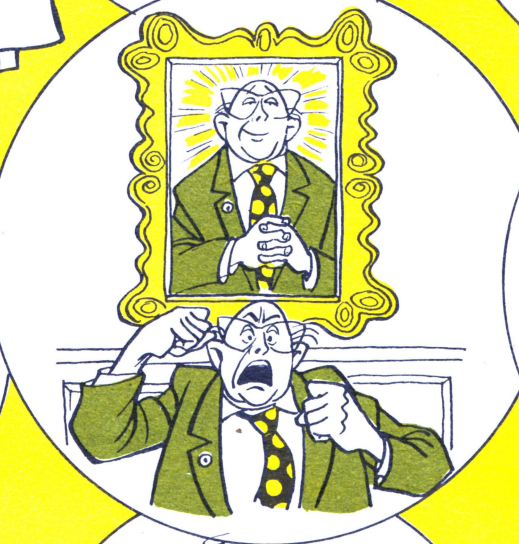
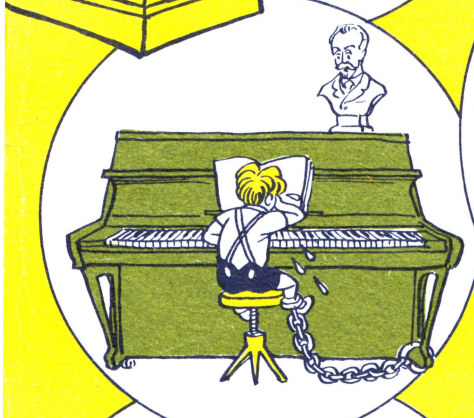
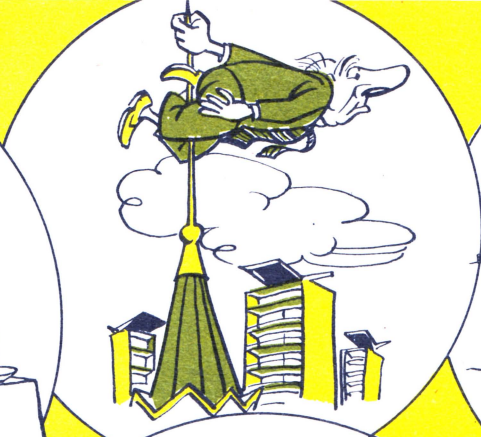
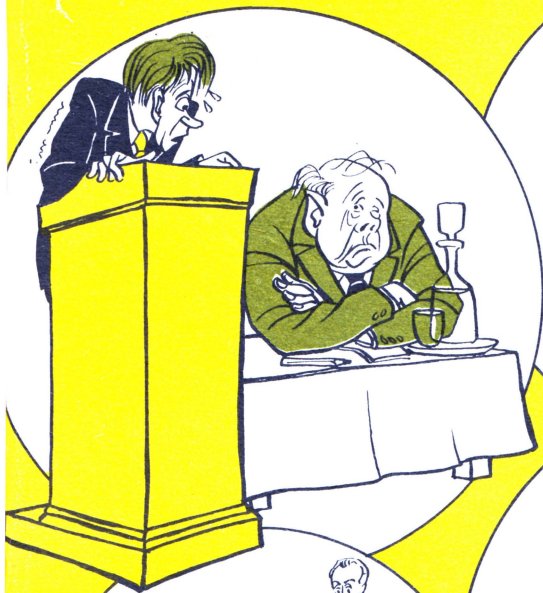
Я любил, как Ромео Джульетту,
Всей душой раньше ту, позже эту...
Ну и что!
Ведь любил я Джульетту,
Но конкретно не ту и не эту!

Интим для всех

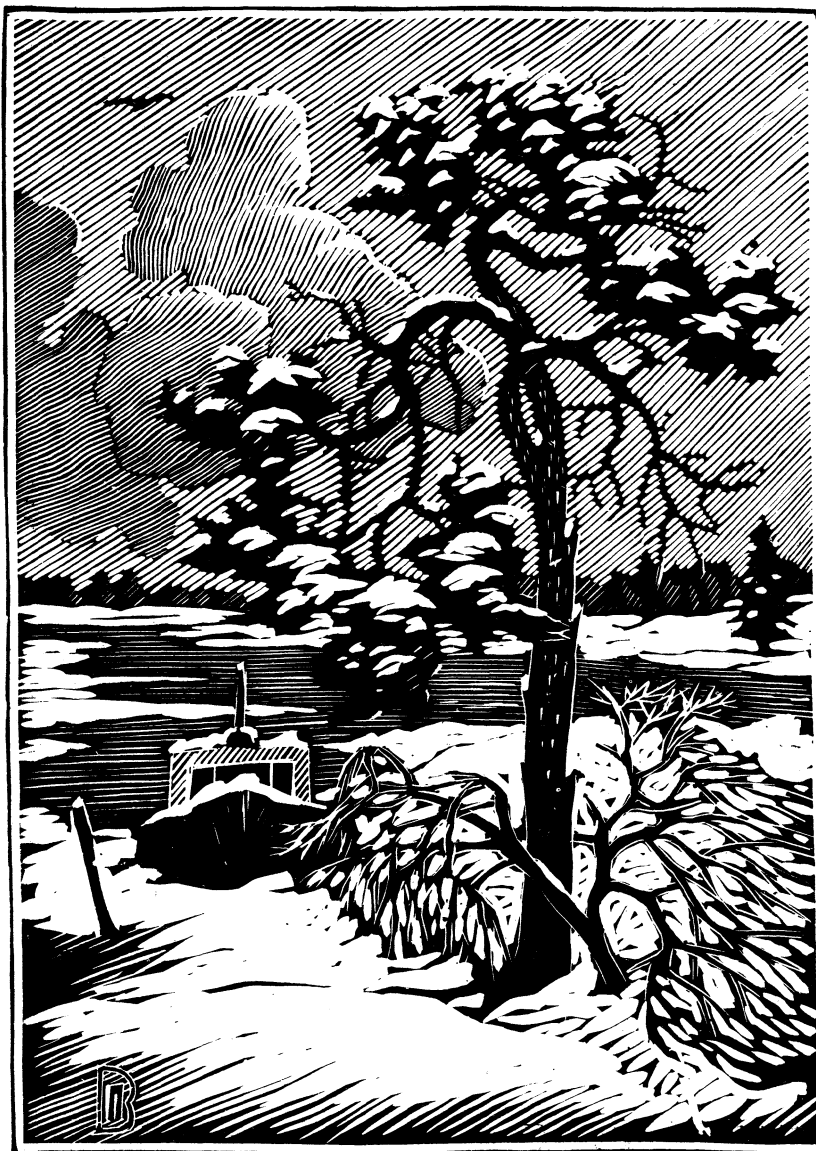
Демонстрируя страсти, испанскую кровь,
Обнимаются двое, идут ухо в ухо...
Я не знаю — быть может, все это любовь,
Но скорее всего — показуха!

«Иду на вы»

— Не промолчу, поскольку он — свинья!
Но ведь и чин!! А как жена и дети!
А мой проект! А вы! А он! А я!..
О, господи, как сложно жить на свете!



Рисунки А. Кирпикова



ПЕРВЫЙ СНЕГ. Линогравюра
Василий ПОПОВ, г. Киев

БОЛЬШУЩИЙ ПАРОХОД, БЕЛЫЙ, В КАПЛЯХ ВОДЫ И СОЛНЕЧНЫХ ИСКОРКАХ, НАДВИГАЛСЯ СПОКОЙНО И НАПОРИСТО. ЧИСТЫЙ, КАК УТРО. НА ДВУХ ЕГО ПАЛУБАХ — ПАССАЖИРЫ. ГДЕ ЖЕ ЛЮДА?.. Я НЕ ЗНАЛ. НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ. ТОЛЬКО СТОЯЛ СРЕДИ ОСТРЫХ КАМНЕЙ И МАХАЛ РУКОЙ, БУДТО УМО-

ЛЯЛ ВЗЯТЬ НА БОРТ МЕНЯ, ПОТЕРПЕВШЕГО КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ...

«УТРЕННЮЮ ПОВЕСТЬ» МИХАИЛА НАЙДИЧА, ПОВЕСТЬ О ДОВОЕННОЙ ЮНОСТИ И ЛЮБВИ, ЧИТАЙТЕ В № 12.